

ЛАУРЕАТ ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

ДЖЕФФРИ  
Евгенидис

# НАЙТИ ВИНОВАТОГО

Это станет классикой!  
THE NEW YORK TIMES

Джеффри Евгенидис

**Найти виноватого**

«РИПОЛ Классик»

2017

УДК 82/89  
ББК 84(7Сое)

**Евгенидис Д.**

Найти виноватого / Д. Евгенидис — «РИПОЛ Классик», 2017

ISBN 978-5-386-12417-5

В книгу вошли рассказы современного американского писателя Джеффри Евгенидиса, написанные в период с 1988 по 2017 год.

УДК 82/89  
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-386-12417-5

© Евгенидис Д., 2017  
© РИПОЛ Классик, 2017

# Содержание

Воздушная почта	6
Спринцовка	18
Старинная музыка	29
Конец ознакомительного фрагмента.	38

# Джеффри Евгенидис

## Найти виноватого

*Памяти моей матери Ванды Евгенидис (1926–2017) и моего  
племянника Бреннера Евгенидиса (1985–2012)*

JEFFREY EUGENIDES

Fresh Complaint

*Перевела с английского Д. А. Горянина*

© 2017 by Jeffrey Eugenides. All rights reserved

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019

## Воздушная почта

Скрывшись за бамбуком, Митчелл наблюдал за немкой, его товаркой по несчастью, которая как раз направлялась в сортир. Она ступила на крыльцо, прикрыв глаза ладонью – солнце палило немилосердно, – а другой рукой вяло нащупав на перилах полотенце, после чего кое-как намотала его на голое тело и вышла из тени. Она миновала хижину Митчелла. Сквозь щели между рейками ее кожа выглядела болезненной, цвета куриного бульона. Тапочек – только на одной ноге. Каждые несколько шагов ей приходилось останавливаться, отрывая босую ступню от пылающего песка и отдыхать, точно фламинго, тяжело дыша. Казалось, она сейчас упадет в обморок. Но этого не случилось. Она преодолела песчаный участок и дошла до границы чахлых джунглей. Добравшись до туалета, открыла дверь, заглянула в его темноту и скрылась там.

Митчелл уронил голову обратно. Он лежал на соломенном коврике, подложив вместо подушки клетчатые шорты L. L. Bean. В хижине было прохладно, и ему не хотелось вставать. К несчастью, живот бушевал. Всю ночь кишки вели себя смирно, но утром Ларри убедил Митчелла съесть яйцо, и теперь у амеб появилась пища.

– Я же говорил, что не хочу яйцо, – сказал он и тут же вспомнил, что Ларри нет. Ларри на пляже, веселится с австралийцами.

Чтобы не сердиться, Митчелл закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул. Через несколько вдохов у него начало звенеть в ушах. Он слушал этот звон, вдыхая и выдыхая, стараясь сосредоточиться на дыхании. Когда звон стал еще громче, Митчелл приподнялся на локте и поискал письмо, которое писал родителям. Последнее. Оно обнаружилось в Новом Завете, вложенное в Послание к ефесянам. Первая страница уже была испещрена буквами. Не перечитывая написанное ранее, он взял шариковую ручку, предусмотрительно воткнув в бамбук, и начал: «Помните моего учителя английского, мистера Дадера? Когда я был в десятом классе, у него нашли рак поджелудочной. Оказалось, что он был последователем „Христианской науки“<sup>1</sup>. Мы и не знали. Он даже отказался от химии. И что же было дальше? Полная ремиссия».

Жестяная дверь сортира брякнула, и немка снова вышла на солнце. На полотенце – мокрое пятно. Митчелл отложил письмо и пополз к двери хижины. Высунув голову наружу, он ощутил, как там жарко. Блекло-голубое небо, словно на отретушированной открытке, океан – тоном темнее. Белый песок – словно отражатель для загара. Митчелл прищурился, чтобы разглядеть ковыляющий перед ним силуэт.

– Как вы?

Немка не отвечала, пока не добралась до полоски тени между хижинами. Она подняла ногу и поморщилась:

– Из меня выливается только коричневая водичка.

– Все пройдет. Главное, ничего не ешьте.

– Я уже три дня ничего не ем.

– Надо заморить амеб голодом.

– Да, но, по-моему, это они хотят уморить меня.

На ней по-прежнему одно только полотенце, но это нагота больного человека. Митчелл ничего не чувствовал. Немка помахала рукой и двинулась дальше.

Когда она ушла, Митчелл заполз обратно в хижину и лег на коврик. Он взял ручку и записал: «Мохандас К. Ганди<sup>2</sup> спал в окружении своих внучатых племянниц, чтобы испытать данный им обет безбрачия – т. е. все святые непременно фанатики».

Он положил голову на шорты и закрыл глаза. Мгновение спустя в ушах снова зазвенело.

---

<sup>1</sup> Христианская наука – околехристианское религиозное учение, основная идея которого – исцеление через веру.

<sup>2</sup> Мохандас – настоящее имя Махатмы Ганди, Махатма же – титул, означающий «великая душа».

Через некоторое время пол хижины затрясся. Под головой Митчелла задрожал бамбук, и он сел. В дверном проеме, словно полная луна, возникло лицо его спутника. На Ларри были бирманская набедренная повязка и индийский шелковый шарф. Его грудь – неожиданно волосяная для такого паренька – была обнажена и обожжена солнцем, как и его лицо. Прошитый серебряными и золотыми нитями шарф драматически ниспадал с плеча. Ларри курил кривую травяную пахитоску и разглядывал Митчелла.

– Какие вести от диареи?

– Я в порядке.

– В порядке?

– Все нормально.

Ларри, казалось, был разочарован. Обожженная до красноты кожа у него на лбу сморщилась. Он протянул Митчеллу стеклянную бутылочку:

– Принес тебе таблеток. От дрисни.

– От таблеток запор. И амебы остаются внутри.

– Мне их дала Гвендолин. Попробуй. Голодание бы уже сработало. Сколько ты уже не ешь? Неделю?

– Если тебя насильно кормят яйцами, это не голодание.

– Одно-единственное яичко, – отмахнулся Ларри.

– До него все было нормально. А теперь у меня болит живот.

– Ты же сказал, что в порядке.

– В порядке, в порядке, – произнес Митчелл, и его желудок вдруг ожил. Митчелл ощутил несколько бульков в нижней части живота, потом что-то зашипело, словно газировка в сифоне, после чего в кишечнике что-то уже знакомо сжалось. Он отвернул голову, закрыл глаза и снова начал глубоко дышать.

Ларри еще несколько раз затянулся и изрек:

– Что-то ты мне не нравишься.

– Ты накурился, – заметил Митчелл, не открывая глаз.

– Надо думать! – ответил Ларри. – Кстати, больше нет бумаги.

Он переступил через Митчелла, ворох законченных и незаконченных писем и крохотный Новый Завет и вошел в свою половину хижины, где присел на корточки и принялся рыться в сумке. Его сумка была сшита из мешковины всех цветов радуги. При каждом пересечении таможи ее тщательно обыскивали. На ней словно было написано: «Внутри наркотики!» Ларри нашел свой чилим<sup>3</sup> снял чашечку и постучал об пол, чтобы вытряхнуть пепел.

– Только не на пол!

– Забей. Он же рассеется. – Он потер пепел пальцами. – Видишь? Чистота.

После этого Ларри сунул трубку в рот, чтобы проверить, тянет ли, и покосился на Митчелла.

– Как думаешь, ты уже скоро встанешь на ноги?

– Наверное.

– Мне кажется, нам придется вернуться в Бангкок. Ну, рано или поздно. Я хочу на Бали.

А ты?

– А я хочу прийти в себя, – сказал Митчелл.

Ларри кивнул, словно удовлетворившись этим ответом. Он вытащил изо рта трубку и сунул на ее место биди<sup>4</sup> после чего встал, сгорбившись, чтобы не задеть крышу, и уставился на пол.

---

<sup>3</sup> Чилим – курительная трубка.

<sup>4</sup> Биди – тонкая азиатская сигарета-самокрутка.

– Завтра будет почтовая лодка.

– Что?

– Почтовая лодка. Для писем твоих. – Ларри подвигал несколько листов ногой. – Хочешь, я их отправлю? А то тебе придется идти на пляж.

– Я сам. Завтра уже встану.

Ларри приподнял бровь, но промолчал, после чего двинулся к двери.

– Я оставлю таблетки, вдруг передумаешь.

Как только он ушел, Митчелл поднялся. Откладывать дальше было невозможно. Он надел набедренную повязку, вышел на крыльцо, прикрыв глаза, и на ощупь поискал шлепанцы. Рядом был пляж. Шуршали волны. Он спустился по ступенькам и отправился в путь. Он не поднимал взгляд и видел только собственные ступни и песок. Следы немки были еще различимы среди мусора, коробок из-под растворимого кофе и скомканных салфеток из кухонной палатки. В воздухе пахло жареной рыбой. Есть не хотелось.

Туалет представлял собой хижину из гофрированного железа. Перед ним стояла ржавая бочка с водой и пластиковое ведро. Митчелл наполнил ведро водой и внес его внутрь. Прежде чем закрыть дверь, он тщательно разместил ступни на платформе по обе стороны дырки. Когда дверь закрылась, помещение погрузилось во мрак. Митчелл снял набедренную повязку и повесил ее на шею. Азиатские туалеты помогали тренировать гибкость: он теперь мог сидеть на корточках по десять минут кряду без малейшего труда. А запах он уже почти не замечал. Он придерживал дверь, чтобы никто не вломился.

Его все еще поражало, сколько же жидкости изливалось из него за раз, но это неизменно приносило облегчение. Он воображал, как амеб уносит этим потоком, как они покидают его тело. Дизентерия заставила его ближе познакомиться с собственными внутренностями: теперь он четко ощущал желудок, толстую кишку, всю эту гладкую мускульную канализацию. Жжение возникало в верхней части кишечника, после чего пробиралось по телу, словно проглоченное змеей яйцо, растягивая, раздвигая ткани. Потом оно с содроганиями опускалось, – и наружу вырывался поток жидкости.

На самом деле, он болел уже тринадцать дней. Сначала он ничего не говорил Ларри. Однажды утром Митчелл проснулся в бангкокском гостевом доме с каким-то странным ощущением в желудке. Поднявшись и выбравшись из-под москитной сетки, он почувствовал себя лучше. Тем же вечером, после ужина, начались какие-то странные подергивания – словно кто-то барабанил пальцами по стенкам желудка. На следующее утро начался понос. Поначалу казалось, что нет ничего страшного. Такое случалось и раньше, в Индии, и через несколько дней закончилось. Сейчас же все было иначе. Диарея усиливалась, и после каждого приема пищи Митчелл по несколько раз бегал в туалет. Вскоре он стал чувствовать усталость. Стоило подняться на ноги, начинала кружиться голова. После еды желудок так и горел. Но Митчелл продолжал путешествие. Ему казалось, что нет ничего серьезного. Из Бангкока они с Ларри отправились на побережье, где сели на паром и уплыли на остров. Судно вошло в узкую бухточку и остановилось на мелководье – к берегу пришлось брести прямо по воде. Спрыгнув с борта, Митчелл вдруг что-то понял. Плеск моря словно бы отражал плеск у него в животе. Как только они устроились, Митчелл начал голодать. Он уже неделю питался одним лишь черным чаем и выходил из хижины только в туалет. Как-то раз по пути он повстречал немку и убедил ее тоже начать голодать. Все остальное время он лежал на матрасе, думал и писал письма домой: «Привет вам из рая! Мы с Ларри сейчас живем на тропическом острове в Сиамском заливе (посмотрите на карте). У нас отдельная хижина прямо на пляже – за эту роскошь пришлось отвалить аж пять долларов за ночь. Этот остров еще не открыли, поэтому тут почти никого нет». Он еще некоторое время описывал остров (по крайней мере, то, что удалось разглядеть между бамбуковыми рейками), после чего перешел к более важным темам: «Восточные рели-

гии учат нас, что все материальное – иллюзорно. Это касается абсолютно всего: нашего дома, папиных костюмов, даже маминых подвесов для цветочных горшков. Согласно буддизму, все это майя<sup>5</sup>. Разумеется, то же относится и к телу. Я отправился в это путешествие еще и потому, что наша детройтская система ценностей несколько заострилась. И за это время я кое-во что поверил. И кое-что проверил. Например, можно ли управлять организмом с помощью сознания. В Тибете есть монахи, которые научились контролировать физиологию с помощью разума. У них даже есть игра „растопи снежок“. Они кладут снежок на ладонь и медитируют, посылая в нее весь жар тела. Кто первый растопит свой снежок, тот и выиграл».

Иногда он перестает писать и сидит с закрытыми глазами, словно ожидая вдохновения. Точно так же он сидел два месяца назад, когда впервые услышал звон: глаза закрыты, спина выпрямлена, голова поднята, нос настороже. Это произошло в бледно-зеленом гостиничном номере в Махаба-липураме. Митчелл сидел на кровати в позе полулотоса. По-западному одеревеневшее левое колено упрямо торчало в воздухе. Ларри ушел бродить по городу. Митчелл остался один. Он даже не ожидал, что что-то произойдет, – просто сидел, пытался сосредоточиться на медитации, но мысли его метались. Вдруг ему вспомнилась бывшая девушка, Кристин Вудхаус, – какие у нее были чудесные рыжие лобковые волосы. Он больше никогда их не увидит. Потом он подумал о еде. Хорошо бы в этом городишке было что-нибудь помимо идли самбара<sup>6</sup>. Иногда он вдруг понимал, как далеко ушли его мысли, и пытался снова сосредоточиться на дыхании. И вдруг, когда он уже перестал стараться и надеяться на чудо (кстати, именно в такие моменты, по утверждению мистиков, чудеса и случались), у него в ушах что-то зазвенело. Очень тихо. Звук не был новым для него. Он его узнал. Как-то в детстве он был у себя во дворе, и вдруг в ушах так же зазвенело, и он стал спрашивать старших братьев, что это за звон, но они ничего не слышали, хотя и поняли, о чем он. Спустя почти двадцать лет, сидя в бледно-зеленом гостиничном номере, Митчелл снова слышит этот звон. Может, это тот самый космический Ом? Или музыка сфер. После этого случая он все пытался услышать звон снова и через некоторое время наловчился улавливать его повсюду. Он слышал его посреди Саддар-стрит в Калькутте, среди гудков такси и воплей беспризорников, выпрашивающих бакшиш. Он слышал его в поезде, едущем в Чиангмай. Это был звук вселенской энергии, всех атомов, что сочетались друг с другом, чтобы раскрасить все, что он видит. Он существовал всегда. Надо было лишь проснуться и услышать его.

Он написал домой о случившемся – сначала осторожно, потом со все возрастающей уверенностью: «Вселенский поток энергии поддается осмыслению. Все мы суть радиоприемники с тончайшей настройкой. Надо лишь сдуть пыль с транзисторов».

Он писал родителям несколько раз в неделю. Кроме того, он писал братьям и друзьям. Он записывал все, что приходило в голову. Его не волновало, что подумают читатели. Ему вдруг стало нужно анализировать свои озарения, рассказывать, что он видит и чувствует.

«Дорогие мама и папа! Сегодня днем я видел, как кремируют женщину. Мужчина от женщины в этой ситуации отличается цветом савана. У нее был красный. Он сгорел первым. Потом настала очередь ее кожи. Пока я наблюдал, ее внутренности заполнились горячим газом, словно воздушный шар. Они все увеличивались и увеличивались, а потом наконец лопнули, и вся жидкость вытекла. Я хотел найти открытку с подходящим сюжетом, но не нашел».

Или еще: «Дорогой Пити! Тебе никогда не приходило в голову, что в мире существует что-то еще, помимо ватных палочек для ушей и постыдной паховой экземы? Что это еще не вся мегила<sup>7</sup>? Мне иногда так кажется. Блейк верил, что с ним говорят ангелы. Кто знает... Его

---

<sup>5</sup> Майя в буддизме и индуизме – это иллюзия, скрывающая истинную природу вещей.

<sup>6</sup> Идли – небольшие рисовые лепешки, самбар – чечевичный соус с овощами.

<sup>7</sup> Мегила – трактат Талмуда.

стихи это подтверждают. Впрочем, по ночам, когда луна бледнеет, как у нее заведено, клянусь, я иногда ощущаю, как мою трехдневную щетину задевают чьи-то крылышки».

Митчелл всего лишь раз позвонил домой, из Калькутты. Связь была неважная. Они с родителями впервые испытали на себе трансатлантические помехи. Отец взял трубку.

Митчелл сказал «алло» и ничего не слышал, пока в трубке не отозвался эхом последний звук «о». Тогда помехи вдруг сменили тональность, и раздался голос отца. Пропутешествовав половину земного шара, он утратил часть присущей ему силы.

– Значит так, мы с матерью требуем, чтобы ты сел на самолет и немедленно вернулся домой.

– Я только приехал в Индию.

– Тебя уже полгода нет. Хватит. Нам плевать, сколько это стоит. Возьми кредитку, которую мы тебе дали, и купи билет домой.

– Я вернусь месяца через два.

– Да что ты вообще там забыл? – возопил отец, пытаясь пробиться через спутник. – В Ганге плавают трупы! Ты чем-нибудь заболеешь.

– Не заболею. У меня все хорошо.

– А твоей матери плохо. Ты ее в могилу сведешь.

– Пап, сейчас началась лучшая часть путешествия. В Европе здорово, конечно, но это все равно Запад.

– А чем плох Запад?

– Ничем. Просто очень здорово выйти за пределы собственной культуры.

– Поговори с матерью, – сказал отец.

В трубке зазвучал голос матери. Она чуть ли не плакала:

– Митчелл, как ты?

– Все нормально.

– Мы так беспокоимся!

– Не переживайте. Все нормально.

– От тебя приходят странные письма. Что там с тобой происходит?

Митчелл задумался, не рассказать ли ей. Но об этом невозможно рассказать. Нельзя же просто взять и объявить, что познал истину. Это мало кому понравится.

– Ты что, стал каким-то харекришной?

– Мам, никем я пока не стал! Разве что голову побрил.

– Голову побрил!

– На самом деле нет.

На самом деле он действительно побрил голову.

Потом трубку снова взял отец. Теперь голос его звучал грубо и сухо – Митчелл его таким не знал.

– Ладно, хватит придуриваться. Быстро возвращайся. Полгода – вполне достаточный срок. Мы дали тебе кредитку на случай необходимости, так что теперь...

И ровно в этот момент – божественное вмешательство – связь оборвалась. Митчелл стоял с трубкой в руках, а за ним толпилась очередь бенгальцев. Он решил пропустить их, повесил трубку и подумал, что больше звонить не стоит. Родителям не понять, что с ним происходит и чему его научило это необыкновенное место. Письма тоже надо будет несколько пригасить. Описывать пейзажи и все.

Разумеется, из этого ничего не вышло. Не прошло и пяти дней, как он снова начал писать домой – на этот раз о нетленном теле святого Франциска Ксаверия и о том, как его четыре-ста лет выставляли на улицах Гоа, пока чрезмерно пылкий пилигрим не откусил ему палец. Митчелл был не в силах сдержаться. Все, что он видел вокруг – бенгальские фикусы, разукрашенные коровы, – заставляло схватиться за перо. Описывая увиденное, он тут же рассказывал,

какое действие это произвело на него, а от красок видимого мира тут же переходил к сумраку и звону мира невидимого. Заболев, он тут же сообщил об этом домой: «Дорогие мама и папа! Кажется, я подхватил амебную дизентерию». Далее он описал симптомы и средства, которыми лечились другие путешественники. «Тут все этим рано или поздно заболевают. Буду голодать и медитировать, пока не полегчает. Немного похудел, но не сильно. Как только мне станет лучше, мы с Ларри поедem на Бали».

В одном он был прав – дизентерией действительно рано или поздно заболевали все. Помимо его соседки, на острове маялись животом еще два путешественника. Одного из них, француза, подкосил салат, и он укрылся в своей хижине, где стонал и звал на помощь, словно умирающий император. Но не далее как вчера Митчелл видел его, совершенно исцелившегося, – он выходил из мелкой бухты, а на ружье для подводной охоты у него красовалась рыба-попугай. Другой жертвой дизентерии стала шведка. В последний раз Митчелл видел ее бледной и изможденной, когда ту несли на паром. Тайские лодочники погрузили ее на борт вместе с пустыми пластиковыми бутылками и канистрами из-под бензина. Они уже привыкли к истощенным туристам. Погрузив шведку, они тут же принялись улыбаться и махать. Затем судно двинулось задним ходом, унося женщину в больницу на материке.

Митчелл знал, что если понадобится, его эвакуируют. Впрочем, он не думал, что до этого дойдет. Избавившись от яйца, он почувствовал себя лучше. Боль в животе утихла. Ларри пять-шесть раз в день приносил ему черный чай. Митчелл решил не давать амебам никакой пищи – даже капельки молока. Вопреки ожиданиям его умственная энергия ничуть не угасла, а напротив, возросла.

«Невероятно, сколько сил уходит на пищеварение. Голодание могло бы показаться странной епитимьей, но на самом деле это крайне здоровый и вполне научный метод приглушить, выключить свое тело. А когда выключается тело, сознание, наоборот, включается. На санскрите это называется „мокса“ – полное освобождение от тела».

Самое странное, что здесь, в хижине, будучи совершенно определенно больным, Митчелл тем не менее испытывал неведомые ранее покой, безмятежность и ясность ума. Он ощущал себя в безопасности, словно за ним каким-то неведомым образом присматривали свыше. Он чувствовал счастье. У немки все было по-другому. Она выглядела все хуже и хуже. При встречах она уже почти не говорила, а кожа ее казалась еще более бледной и пятнистой. Через некоторое время Митчелл перестал советовать ей продолжать голодание. Теперь он все время лежал на спине, прикрыв глаза плавками, и более не обращал внимания на ее путешествия в сортир. Вместо этого он слушал звуки острова: как купаются и голоса люди на пляже, как кто-то в одной из соседних хижин учится играть на деревянной флейте. Плескались волны, иногда на землю валился высохший пальмовый лист или кокос. По ночам в джунглях выли дикие собаки. Выходя в сортир, Митчелл, слышал, как они бегают вокруг, приближаются и вынюхивают через щели в стенах его и извергающийся из него поток. Обычно люди колотили по стенам фонариком, чтобы отпугнуть собак. Митчелл даже не брал его с собой. Он стоял и слушал, как собаки собираются в зарослях. Они раздвигали стебли своими острыми мордами, и их красные глаза блестели в лунном свете. Митчелл спокойно наблюдал за ними сверху вниз. Раскинув руки, он предлагал им себя, но они не нападали, и он отворачивался и уходил в хижину. Как-то вечером, возвращаясь в жилище, он услышал чей-то голос с австралийским акцентом:

– А вот и наш больной!

Он поднял взгляд и увидел на крыльце Ларри с какой-то пожилой женщиной. Ларри скатывал косячок на путеводителе по Азии. Женщина курила сигарету и в упор разглядывала Митчелла.

– Привет, Митчелл! Меня зовут Гвендолин, – представилась она. – Слышала, ты приболел.

– Немножко.

– Ларри сказал, что ты не пьешь таблетки, которые я передала.

Митчелл ответил не сразу. Он целый день ни с кем не говорил. Или уже несколько дней. Надо было вспомнить, как это делается. От одиночества он стал чувствительным к грубости окружающих. Громкий пропитой баритон Гвендолин, к примеру, словно скреб ему по груди. На голове у нее была какая-то расписная повязка, напоминавшая бинты. Куча туземных украшений – ракушки всякие, косточки, болтались на шее и запястьях. Из всего этого торчало ее опаленное солнцем лицо, в центре которого мигал красный уголек сигареты. От Ларри в лунном свете осталось лишь белокурое гало.

– У меня у самой был жуткий понос, – продолжала Гвендолин. – Просто-таки чудовищный. В Ириан-Джае. Эти таблетки меня просто спасли.

Ларри в последний раз лизнул косяк и прикурил. Втянув воздух, он поднял взгляд на Митчелла и сипло сказал:

– Мы пришли, чтобы заставить тебя выпить таблетки.

– Вот именно. Голодание это хорошо, но через... Сколько ты там уже не ешь?

– Почти две недели.

– Через две недели лучше остановиться.

Вид у нее был строгий, но тут Ларри передал ей косяк, и Гвендолин сказала: «Чудно!» Она затянулась, улыбнулась им, удерживая дым в груди, а потом разразилась кашлем и не умолкала с полминуты. Наконец она глотнула еще пива, держась рукой за грудь, и снова затянулась.

Митчелл тем временем разглядывал полосу лунного света в океане.

– Вы развелись, – произнес он вдруг. – Потому и приехали сюда.

Гвендолин так и застыла:

– Ну почти что. Мы разошлись. Это так бросается в глаза?

– Вы парикмахерша, – сообщил Митчелл, не отрывая взгляда от воды.

– Ларри, что ж ты не сказал, что у тебя друг ясновидящий.

– Да это я ему рассказал, видимо, так ведь?

Митчелл промолчал.

– Ну что ж, господин Нострадамус, у меня для вас тоже есть предсказание. Если ты немедленно не выпьешь таблетку, скоро паром увезет отсюда одного очень больного мальчика. Ничего хорошего, так?

Митчелл впервые взглянул Гвендолин прямо в глаза. Его поразила ирония момента – она считала больным его. Он же видел, что все наоборот. Она уже прикуривала следующую сигарету. Сорок три года, в каждом ухе по куску кораллового рифа, накуривается на островке близ Таиланда. От нее веяло несчастьем. Тут не требовалось дара ясновидения. Все было очевидно.

Она отвернулась:

– Ларри, где там мои таблетки?

– В хижине.

– Принесешь?

Ларри включил фонарик и нырнул в дверной проем. По полу пробежал луч света.

– Ты так и не отправил письма.

– Забыл. Как только я заканчиваю, мне кажется, что они уже отправлены.

– Там уже пахнет, – сообщил Ларри и передал пузырек Гвендолин.

– Давай-ка, открывай рот. – Она протянула ему таблетку.

– Не надо, я в порядке.

– Выпей лекарство, – сказала Гвендолин.

– Давай, Митч, ты правда херово выглядишь. Выпей уже.

Наступила тишина. Они молча смотрели на него. Митчеллу хотелось объясниться, но было очевидно: ничто не убедит их в его правоте. Любые слова казались недостаточными.

Любые слова словно обесценивали происходящее с ним. Поэтому он решил пойти по пути наименьшего сопротивления и открыл рот.

– Языку тебя ярко-желтый, – сказала Гвендолин. – Я такой цвет только у канареек видела. Давай! Запей пивом. – Она протянула ему бутылку. – Bravo! Принимай по четыре раза в день в течение недели. Ларри, ты отвечаешь за то, чтобы он пил таблетки.

– Пойду посплю, пожалуй, – произнес Митчелл.

– Ладно, – согласилась Гвендолин. – Вечеринка переезжает в мою хижину.

Когда они ушли, Митчелл забрался в дом и прилег, после чего выплюнул пилюлю, которую держал под языком. Она стукнулась о бамбуковую половицу и провалилась в щель. Я прямо как Джек Николсон в «Пролетая над гнездом кукушки», подумал он с улыбкой. Записать эту мысль уже не хватило сил.

Дни, проведенные под наброшенными на голову плавками, казались куда совершеннее обычных и уходили более бесследно. Он спал урывками, когда хотел, и уже не обращал внимания на время. Его достигали островные ритмы: сначала сонные голоса тех, кто завтракал банановыми блинчиками и кофе, потом крики на пляже, а по вечерам – дым гриля и скрежет лопатки, которой царапала по своему воку китайская повариха. Открывались пивные бутылки, кухонная палатка заполнялась голосами, затем в соседних хижинах начинались вечеринки. Потом возвращался Ларри – от него пахло пивом, дымом и солнцезащитным кремом. Митчелл притворялся, что спит. Иногда он бодрствовал всю ночь, пока Ларри спал. Спиной он чувствовал пол, и весь остров, и течение океана. Луна росла и заливала светом хижину. Митчелл поднимался и брел к серебряной кромке океана. Он заходил в воду и плыл на спине, разглядывая луну и звезды. Залив был словно теплая ванна, в которой плавал остров. Он закрывал глаза и сосредоточивался на дыхании. Через некоторое время всякая граница между внутренним и внешним стиралась. Он не дышал – им дышали. Это состояние длилось всего несколько секунд, потом уходило, а потом накрывало снова.

Кожа его стала соленой на вкус. Соленый ветер проникал в хижину сквозь бамбуковые рейки или накрывал его, пока он шел в сортир. Присев над ямой, он облизывал свои соленые плечи. Это была его единственная пища. Иногда его тянуло заглянуть в кухонную палатку и заказать там целую рыбку или стопку блинчиков. Но подобные приступы голода случались редко, а после них приходило еще более глубокое спокойствие. Из него все также извергались потоки, но уже не столь бурно – жидкость скорее сочилась, как из раны. Он открывал бочку, набирал ковшик воды и подмывался левой рукой. Несколько раз он так и засыпал, сидя на корточках над дырой, и просыпался только когда кто-то начинал барабанить в дверь.

Он продолжал писать письма: «Я когда-нибудь рассказывал тебе о больных проказой матери с сыном в Бангалоре? Я шел по улице, а они сидели на обочине. К тому моменту я уже привык к прокаженным, но не таким. От них уже почти ничего не осталось. На месте пальцев не было даже обручков. Кисти выглядели как шары на концах рук. А лица словно стекали с голов, как тающие свечи. Левый глаз матери был затянут серой пленкой и смотрел в небо. Но когда я дал ей пятьдесят пайсов, она посмотрела на меня зрячим глазом, и он светился мудростью. Она сложила свои культи в знак благодарности. Когда моя монета упала в чашку, ее слепой сын сказал: „Спасибо!“ Кажется, он улыбнулся – сложно было понять по изуродованному лицу. И тут я вдруг понял, что они – люди. Не нищие, не горемыки, а просто мать с ребенком. Я увидел их такими, какими они были до проказы, когда просто гуляли по улицам. И тогда меня постигло еще одно озарение. Я вдруг почувствовал, что мальчик сам не свой до мангового ласси. В тот момент я счел это настоящим откровением. Казалось, более глубокого познания и желать было нельзя. Когда монета упала в стакан и мальчик поблагодарил меня, я понял – он сейчас представляет себе холодный манговый ласси».

Митчелл отложил ручку, погружившись в воспоминания. Потом вышел из хижины, чтобы полюбоваться закатом, и уселся на крыльце, скрестив ноги. Левое колено теперь отлично гнулось. Стоило закрыть глаза, звон начинался снова – еще громче, ближе, упоительнее.

С такого расстояния многое казалось забавным. Как он тревожился по поводу будущей специализации. Как отказывался выходить из комнаты, когда лицо обсыпало прыщами. Даже горькое отчаяние, терзавшее его, когда он искал Кристин Вудхаус в общежитии, а она всю ночь не возвращалась, теперь казалось смешным. Жизнь так легко потратить зря. Он и тратил, пока в один прекрасный день не привился от тифа и холеры, погрузился вместе с Ларри в самолет и сбежал. Только теперь, оставшись в одиночестве, Митчелл начал узнавать себя. Словно тряска по ухабам разболтала его старую душу, и однажды та просто рассеялась в индийском воздухе. Ему не хотелось возвращаться в мир колледжей и сигарет с ароматизаторами. Он лежал на спине, ожидая, что к нему придет просветление – или же что ничего не произойдет. Разницы не было.

Тем временем немка из соседней хижины снова куда-то собралась. Митчелл услышал, как она чем-то шуршит. Вместо того чтобы отправиться в сортир, она забралась в хижину Митчелла. Он убрал с лица плавки.

– Я еду в больницу. На лодке.

– Я так и подумал.

– Мне сделают укол, я переночую там и вернусь. – Она помолчала. – Хотите поехать со мной? Вам сделают укол.

– Нет, спасибо.

– Почему?

– Потому что мне уже лучше. Гораздо лучше.

– Покажитесь врачу. На всякий случай. Поедем вместе.

– Я в порядке.

Он встал и улыбнулся, чтобы подтвердить свои слова. Со стороны гавани раздался гудок. Митчелл проводил ее на крыльцо.

– До встречи, – сказал он.

Немка прошептала по мелководью и забралась на борт. Стоя на палубе, она не махала, но глядела в его сторону. Митчелл наблюдал за тем, как уменьшается ее фигурка. Когда она наконец исчезла, он вдруг понял, что говорил правду: ему действительно было лучше.

Желудок утих. Он положил руку на живот, словно проверяя, что там внутри. Он казался совершенно пустым. Митчелла больше не мучило головокружение. Надо было написать новое письмо, и он принялся за него при свете заката: «В этот ноябрьский, кажется, день мне бы хотелось объявить, что пищеварительная система Митчелла Б. Каннингема была исцелена исключительно духовными методами. Отдельно мне хотелось бы поблагодарить Мэри Бейкер Эдди, которая больше всех поддерживала меня. Следующая моя твердая какашка будет посвящена ей».

Он все еще писал, когда в хижину вошел Ларри.

– Ого. Не спишь?

– Мне лучше.

– Точно?

– А еще, не поверишь...

– Что?

Митчелл отложил ручку и широко улыбнулся Ларри:

– Я ужасно проголодался.

К этому моменту все обитатели острова уже слышали, что Митчелл постится, словно Ганди. Когда он вошел в кухонную палатку, все зааплодировали, а некоторые женщины заохали – так он похудел. Поддавшись материнскому инстинкту, они усадили его и принялись щупать лоб – нет ли температуры. Палатка была заставлена пластиковыми столами. На прилавках лежали ананасы, арбузы, бобы, лук, картошка и салат. На разделочной колоде лежала длинная синяя рыба. Вдоль одной из стен выстроились термосы с чаем и горячей водой, а дальше, за перегородкой, стояла колыбелька с ребенком китайской поварахи. Митчелл разглядывал новые лица. Земля под столом оказалась неожиданно прохладной.

Тут же посыпались медицинские советы. Большинство путешествующих по Азии голодали пару дней, а потом возвращались к прежнему режиму. Но Митчелл так долго ничего не ел, что один из американцев, некогда учившийся на врача, сказал, что ему опасно сразу набрасываться на еду. Он посоветовал начать с жидкой пищи. Услышав это, китайка фыркнула и вручила Митчеллу сибаса, тарелку жареного риса и омлет с луком. Почти все настаивали на немедленном чревоугодии. Митчелл выбрал компромиссное решение. Для начала он выпил стакан сока папайи и, выждав несколько минут, медленно принялся за жареный рис. Покончив с рисом и поняв, что по-прежнему хорошо себя чувствует, перешел с сибасу. Каждые несколько кусочков бывший будущий доктор говорил: «Все, хватит!», но остальные принимались наперебой твердить, что Митчелл похож на скелет и ему надо поесть.

Приятно было снова находиться среди людей. Митчелл оказался вовсе не таким затворником, каким воображал себя. Ему не хватало общения. Все девушки нарядились в саронги, успели сильно загореть и говорили с очаровательным акцентом. Они то и дело трогали Митчелла – щупали его ребра или измеряли запястья пальцами.

– Я бы жизнь отдала за такие скулы, – сообщила одна из девушек, после чего заставила Митчелла съесть еще жареных бананов.

Наступила ночь. Кто-то объявил, что в хижине номер шесть начинается вечеринка. Не успел Митчелл понять, что происходит, как две датчанки уже повели его куда-то по пляжу. Пять месяцев в году они работали официантками в Амстердаме, а все остальное время путешествовали. Судя по всему, Митчелл выглядел точь-в-точь как Христос с полотен ван Хонтхорста в Рейксмузеуме<sup>8</sup>. Это сходство одновременно восхищало и смешило датчанок. Митчелл думал, не совершил ли он ошибку, столько просидев в своей хижине. Оказалось, на острове бурлила своя, туземная жизнь. Неудивительно, что Ларри так хорошо проводил время. Все были такими дружелюбными. Причем без какого-то сексуального подтекста – просто тепло и близость. У одной из датчанок на спине была ужасная сыпь. Она повернулась и продемонстрировала ему.

Луна восходила над бухтой, и на поверхность воды ложилась длинная лента света. Она освещала стволы пальм и заставляла песок бледно мерцать. Все вокруг приобрело синеватый оттенок, кроме хижин, которые светились оранжевым. Митчелл шагал вслед за Ларри и чувствовал, как воздух омывает его лицо и течет между ними. Внутри было легко, словно сердце покоилось в гелиевом воздушном шарике. Кроме этого пляжа нечего и желать.

– Эй, Ларри! – окликнул он.

– Что?

– Мы уже везде побывали.

– Не везде. Следующая остановка – Бали.

– Потом домой. После Бали – домой. Пока мои родители с ума не сошли.

Он остановился, и датчанки остановились вместе с ним. Ему показалось, что он услышал звон, – громче прежнего, – но потом понял, что это всего лишь музыка в хижине номер шесть.

---

<sup>8</sup> Рейксмузеум – главный художественный музей Амстердама.

Перед входом на песке полукругом сидели люди. Они подвинулись, чтобы освободить место для Митчелла и вновь пришедших.

– Ну что, доктор, можно ему пива?

– Очень смешно. Одно, не больше.

Пиво, переходя из рук в руки, постепенно попало к Митчеллу. Затем его соседка справа положила руку ему на колено. Это оказалась Гвендолин. Он и не узнал ее в темноте. Она с силой затянулась, после чего отвернулась – как бы для того, чтобы выдохнуть, но и с неким намеком на обиду.

– Ты меня так и не поблагодарил, – сказала она.

– За что?

– За таблетки.

– Точно. Спасибо за заботу.

Она улыбнулась, а потом разразилась кашлем. Это был кашель курильщика – глубокий, утробный. Она пыталась остановиться, наклонялась и зажимала рот, но кашляла все сильнее, словно ее легкие рвались на куски. Когда кашель наконец стих, Гвендолин утерла глаза.

– Я умираю, – сказала она и огляделась. Все вокруг болтали и смеялись. – Всем плевать.

Все это время Митчелл пристально рассматривал Гвендолин. Ему было ясно – если у нее еще нет рака, то скоро будет.

– Хочешь знать, как я понял, что ты недавно с кем-то рассталась? – спросил он.

– Почему бы и нет.

– Ты словно светишься. Женщины, которые разводятся или расстаются с кем-то, начинают светиться. Я и раньше такое замечал. Вы словно молодеете.

– Правда?

– Именно так.

Гвендолин улыбнулась:

– Мне стало легче.

Митчелл протянул бутылку с пивом, и они чокнулись.

– Твое здоровье!

– Твое здоровье!

Он глотнул пива. Вкуснее он в жизни не пробовал. Вдруг его охватила эйфория. Они сидели не у костра, но ощущалось происходящее именно так – как будто в центре круга был невидимый источник света и тепла. Митчелл, прищурившись, разглядывал сидящих рядом, а потом отвернулся к бухте. Он думал о своем путешествии, пытаясь вспомнить все, что они с Ларри повидали – вонючие гостевые дома, барочные городки, горные деревушки. Не то чтобы он вспоминал какое-то конкретное место – они все плясали у него в сознании, словно в калейдоскопе. Он чувствовал покой и полное удовлетворение. В какой-то момент он вновь услышал звон и сосредоточился на нем, поэтому пропустил первый укол боли в кишечнике. Затем откуда-то издалека пришел второй и словно пронзил его, но так деликатно, будто и не на самом деле. Мгновение спустя боль снова дала о себе знать, уже сильнее. Он ощутил, как внутри него открывается клапан и ручеек раскаленной жидкости, похожей на кислоту, начинает прожигать путь к выходу. Он не встревожился. Ему было слишком хорошо. Он просто встал и сказал, что сходит ненадолго к воде.

– Я с тобой, – произнес Ларри.

Луна поднялась еще выше, и ее свет, отражаясь в воде, заливал всю бухту. Музыка осталась позади, и теперь Митчелл слышал, как в джунглях лают дикие собаки. Он приблизился к кромке воды и, не останавливаясь, сбросил лунги<sup>9</sup> и зашел в океан.

– Хочешь окунуться?

---

<sup>9</sup> Лунги – традиционная мужская одежда в Индии, которая обматывается вокруг талии, тип саронга.

Митчелл не ответил.

– Как водичка?

– Холодная.

Это не соответствовало истине – вода была теплая. Просто Митчеллу хотелось побыть в ней одному. Он брел по дну, пока не погрузился по пояс, потом умыл лицо и поплыл.

Заложило уши. Он слышал шум воды, потом морскую тишину, а затем – звон, яснее, чем раньше. Это был даже не звон, а какой-то сигнал, проходящий через все тело.

Он поднял голову и позвал:

– Ларри?

– Что?

– Спасибо, что заботишься обо мне.

– Да не за что.

Оказавшись в воде, он снова почувствовал себя лучше. Он ощущал, как прибой утягивает его из бухты, чтобы воссоединиться с ночным ветром и луной. Из него извергнулся горячий поток, но он отплыл подальше и продолжал качаться на воде и глядеть в небо. Ручки и бумаги не было, поэтому он принялся тихо диктовать письмо: «Дорогие мама и папа! Сама земля и есть лучшее доказательство. Ее ритмы, ее постоянное обновление, движение луны, приливы и отливы – все это и есть урок для самого тугодумного ученика: человека. Земля повторяет свои наставления, пока мы наконец их не усвоим».

– Охрененно тут, – сказал Ларри с берега. – Настоящий рай.

Звон усилился. Прошла минута – или несколько минут. Наконец Ларри произнес:

– Митч, я обратно, ладно?

Голос его звучал откуда-то издалека.

Митчелл раскинул руки и немного всплыл. Он не понимал, ушел Ларри или нет. Он глядел на луну. Вдруг ему открылось то, чего он раньше не замечал, – он стал видеть отдельные волны лунного света. Его сознание замедлилось настолько, что стало воспринимать их. Лунный свет ненадолго ускорялся и вспыхивал, а затем замедлял ход и тускнел. Он пульсировал. Как будто луна тоже звенела. Он лежал в теплой воде, покачиваясь, и следил за тем, как лунный свет и звон синхронизируются, как они одновременно усиливаются и затухают. Через некоторое время он понял, что с ним происходит то же самое. Его кровь пульсировала вместе с лунным светом, вместе со звоном. Где-то вдали из него что-то извергалось. Он чувствовал, как пусто становится внутри. Это ощущение больше не было раздражающим или болезненным – теперь это был ровный поток. В следующую секунду Митчелл ощутил, словно падает куда-то в воде и совершенно не чувствует собственного тела. Уже не он смотрел на луну или слушал звон. И все же понимал, что свет и звук никуда не делись. На мгновение подумалось, что надо послать весточку родителям, чтобы они не волновались. Он нашел рай за пределами острова. Он пытался собраться с силами, чтобы продиктовать последнее письмо, но вскоре понял, что его уже совсем не осталось, и некому взять ручку и написать тем, кого он так любил, кто все равно не смог бы его понять.

1996

## Спринцовка

Рецепт пришел по почте:

Смешать семя трех мужчин.  
Энергично потрясти.  
Наполнить смесью кухонную спринцовку.  
Лечь на спину.  
Ввести в себя наконечник.  
Выдавить.

Ингредиенты:

1 доля Стю Уодсворта;  
1 доля Джима Фрисона;  
1 доля Уолли Марса.

Обратного адреса не было, но Томасина знала, что письмо отправила Диана, ее лучшая подруга и, с недавних пор, специалистка по проблемам фертильности. После того, как Томасина в последний раз рассталась с мужчиной, Диана настаивала на том, что пора переходить к плану Б. Некоторое время хорош был и план А, подразумевавший любовь и свадьбу. Они разрабатывали план А целых восемь лет. Но, согласно последним исследованиям, план А оказался слишком идеалистичным, поэтому настало время присмотреться к плану Б.

План Б был куда более коварным, сложносочиненным, менее романтичным и оптимистичным, но при этом требовал большей отваги. Согласно этому плану им следовало найти мужчину с хорошими зубами, нормальной фигурой и мозгами, который не страдал от каких-либо серьезных заболеваний и согласился бы немножко пофантазировать (не обязательно о Томасине) и выдавить небольшой плевок жидкости, необходимой для получения ребенка. Словно пара генералов Шварцкопфов, подруги изучали поле битвы, в последнее время претерпевшее серьезные изменения: потери в артиллерийских войсках (им обоим недавно исполнилось сорок), перевод военных действий в партизанский режим (мужчины теперь даже не выходили в открытый бой) и полное уничтожение кодекса чести. Последний мужчина, от которого забеременела Томасина – не гламурный инвестиционный банкир, а предыдущий, инструктор по технике Александра<sup>10</sup>, – даже не потрудился предложить ей руку и сердце. Его кодекс чести предполагал, что в этом случае следует разделить пополам стоимость аборта. К чему отрицать: лучшие воины уже покинули поле битвы и присоединились к мирным брачным войскам. Остался только всякий сброд – неудачники, бабники, те, что склонны немедленно покидать место преступления, и те, что оставляют за собой выжженную землю. Томасине пришлось отказаться от идеи встретить кого-нибудь, с кем ей захочется провести жизнь. Вместо этого надо было родить кого-нибудь, кто вынужден будет провести свою жизнь с ней. Но только получив рецепт, Томасина поняла, что отчаялась настолько, чтобы попробовать, – поняла это прежде чем вдоволь посмеяться. Дело в том, что она тут же поймала себя на мысли – ну ладно Стю Уодсворт, но Уолли Марс?

Томасине уже исполнилось сорок (буду твердить это, словно тикающие часики). У нее было практически все, чего она хотела. Прекрасная работа – помощник режиссера в «Вечер-

---

<sup>10</sup> Техника Александра – комплекс физических упражнений, призванный обучить правильному и гармоничному движению.

них новостях с Дэном Разером» канала CBS. Роскошная солидная квартира на Хадсон-стрит. Приятная внешность, почти не тронутая годами. Грудь не то чтобы не пострадала от времени, но пока удерживала свои позиции. И новые зубы. У нее были новые сверкающие зубы. Поначалу она посвистывала во время разговора, но потом привыкла. У нее были бицепсы. На пенсионном счету лежало сто семьдесят пять тысяч долларов. Но у нее не было ребенка. С отсутствием мужа еще можно было смириться. В некотором смысле так было даже лучше. Но она хотела ребенка.

После тридцати пяти, говорилось в журнале, у женщин начинаются проблемы с зачатием. Томасина просто отказывалась в это верить. Едва она привела в порядок голову, стало подводить тело. Природе плевать на ее уровень зрелости. Природа была бы рада, если бы Томасина вышла замуж за университетского друга. Вообще-то, если говорить именно о размножении, природа предпочла бы, чтобы она вышла замуж за школьного друга. Путешествуя по жизни, Томасина не замечала, что каждый месяц яйцеклетки покидают ее и уходят в небытие. Пока она получала степень по журналистике, ее яичники перестали вырабатывать эстроген. А пока она спала со всеми, кого хотела, фаллопиевы трубы суживались и засорялись. Все это происходило до тридцати лет. Американская расширенная версия детства. У тебя есть образование, есть работа, и можно наконец немного повеселиться. Как-то раз Томасина пять раз кончила во время секса с таксистом Игнасио Веранесом – прямо в его такси, на Ганзеворт-стрит. У него был по-европейски кривой член, и от него пахло машинным маслом. Она бы не повторила этот опыт, но была рада, что это случилось. Чтобы потом ни о чем не жалеть. Беда в том, что в попытке избежать одних сожалений обретаешь другие. Ей было лишь двадцать с небольшим. Она просто развлекалась. Но потом двадцать с небольшим превратились в тридцать с небольшим, а несколько неудачных отношений спустя вам уже тридцать пять, и как-то раз в «Мирабелле» вы читаете, что после тридцати пяти у женщин начинаются проблемы с зачатием, а доля выкидышей и патологий растет.

Она росла уже шестой год. Томасине было сорок лет, один месяц и четырнадцать дней. Она паниковала, но не постоянно. Иногда она спокойно принимала сложившуюся ситуацию.

Она представляла себе своих неродившихся детей. Они прижимались личиками к окнам унылого школьного автобуса – огромные глаза, мокрые ресницы.

– Мы понимаем, – говорили они. – Момент был неподходящий. Мы все понимаем. Правда.

Автобус потрясся прочь, и она увидела водителя. Он положил костлявую руку на рычаг переключения передач, повернулся к Томасине и ощерился в улыбке.

В журнале также говорилось, что у женщин постоянно случаются выкидыши – они просто не замечают. Крохотные бластулы скользили по стенкам матки и, не найдя никакой поддержки, улетали прочь по трубам. Может быть, они еще несколько секунд жили в унитазе, подобно золотым рыбкам. Неизвестно. Но три аборта, один зарегистрированный выкидыш и бог знает сколько незамеченных – и автобус Томасины заполнился. Лежа без сна, она видела, как он медленно трогается в путь, и слышала, как шумят дети – этот детский крик, когда невозможно понять, смеются они или плачут.

Всем известно, что мужчины объективируют женщин. Но никакие наши разглядывания ног и грудей не сравнятся с хладнокровными расчетами охотниц за спермой. Томасина сама поначалу несколько опешила, но вскоре уже сама не могла ничего с собой поделать: приняв решение, она начала видеть в мужчинах исключительно ходячих сперматозоидов. На вечеринках, попивая бароло<sup>11</sup> (скоро от него предстояло отказаться, поэтому пока что Томасина пила

---

<sup>11</sup> Бароло – итальянское вино, считается одним из лучших в мире.

как сапожник), она оглядывала экземпляры, пока они выходили из кухни, болтались в холле или разглагольствовались, сидя в кресле. Порой у нее туманились глаза, и ей казалось, что она может определить качество генетического материала любого из присутствующих. Одни ауры так и светились любовью к ближним, другие представляли собой соблазнительные лохмотья, намекавшие на необузданность, а некоторые мерцали и то и дело гасли, словно им не хватало электричества. Томасина научилась оценивать состояние здоровья по запаху или фигуре. Как-то раз, чтобы повеселить Диану, она приказала всем мужчинам высунуть языки. Те повиновались безо всяких вопросов. Мужчины всегда слушаются женщин. Им нравится, когда их объективируют. Они думали, что их разглядывают на предмет гибкости и будущих перспектив орального секса.

«Откройте рот и скажите „А“», – командовала Томасина весь вечер. И они послушно развертывали языки. Некоторые были с желтыми пятнами или воспаленными сосочками, другие цветом напоминали протухшую говядину. Некоторые ловко извивались, ползали вверх-вниз или же сворачивались, демонстрируя свисающие с обратной стороны нити – словно доспехи глубоководной рыбы. Нашлись, впрочем, два-три идеальных – опаловых, точно устрицы, соблазнительно пухленьких. Это были языки женатых мужчин, которые уже щедро жертвовали свою сперму счастливицам, что придавливали диванные подушки. Эти жены и матери теперь жаловались на другое – на недосып и рухнувшие карьеры. Томасина могла только мечтать о подобных жалобах.

Теперь мне следует представиться. Я – Уолли Марс. Старый друг Томасины. Вернее, бывший бойфренд. Весной 1986 года мы были вместе в течение трех месяцев и семи дней. В то время большинство ее друзей удивлялось тому, что она со мной встречается. Они говорили то же, что сказала она, увидев мое имя в рецепте: «Уолли Марс?» Меня считали слишком маленьким (во мне всего пять футов четыре дюйма) и недостаточно спортивным. Томасина, впрочем, меня любила. Некоторое время прямо-таки без ума была. Какие-то темные, потаенные уголки наших душ соединились друг с другом. Она часто садилась напротив и, барабаня пальцами по столу, спрашивала – ну, что дальше? Ей нравилось меня слушать.

Впрочем, это не прошло. Каждые несколько недель она звонила мне и звала пообедать. И я неизменно соглашался. В тот раз мы договорились встретиться в пятницу. Когда я пришел в ресторан, Томасина уже ждала меня. Несколько мгновений я стоял у стойки администратора, издали разглядывал ее и собирался с силами. Она сидела, откинувшись на спинку стола, и яростно затягивалась первой из трех сигарет, которые позволяла себе за обедом. На полочке над ее головой красовался чудовищных размеров букет. Вы заметили? Цветы теперь тоже исповедуют мультикультурализм. В этой вазе не было каких-то там роз, тюльпанов или нарциссов. Там буйствовала флора джунглей: амазонские орхидеи, суматранские мухоловки. Одна из мухоловок подрагивала челюстями, привлеченная ароматом духов Томасины. Волосы Томасины ниспадали по обнаженным плечам. Выше талии она была голая – а, нет, на ней все-таки был топ, облегающий, телесного цвета. Томасина редко одевается в офисном стиле – если только не считать офисом, например, бордель. Если ей есть что показать, она этого не скроет. (По утрам всю эту красоту наблюдал Дэн Разер, который придумал для Томасины кучу прозвищ – все они так или иначе обыгрывали слово «табаско».) Однако странным образом Томасина не выглядела вульгарно в подобных нарядах. Она словно приземляла их своими материнскими повадками: домашняя лазанья, объятия и поцелуи, отвары от простуды.

Подойдя к столу, я удостоился и объятия, и поцелуя.

– Здравствуй, милый! – воскликнула Томасина и прижалась ко мне. Лицо ее так и горело. Левое ухо, оказавшееся в паре дюймов от моей щеки, полыхало розовым. Я ощущал исходящий от него жар. Она отстранилась, и мы оглядели друг друга.

– Ну что, – сказал я. – Похоже, что у тебя новости.

– Я решила, Уолли. Буду рожать.

Мы сели. Томасина затянулась и выпустила дым уголком рта:

– Я просто поняла, что все, к черту. Мне сорок. Я взрослая. У меня все получится.

Я еще не привык к ее новым зубам. Каждый раз, как она открывала рот, во рту у нее словно загоралась лампочка. Впрочем, зубы выглядели неплохо.

– Мне плевать, что люди подумают. Либо поймут, либо нет. И я не собираюсь воспитывать его сама, моя сестра будет помогать. И Диана. Ты тоже можешь, если захочешь.

– Я?

– Будешь ему дядей.

Она взяла меня за руку. Я сжал ее пальцы.

– Слышал, что у тебя в рецепте был целый список кандидатов.

– Что?

– Диана сказала, что послала тебе рецепт.

– А, ты об этом. – Она затянулась сигаретой, втянув щеки.

– И что, я там тоже был?

– Бывшие. – Томасина выпустила дым вверх. – Все мои бывшие.

Тут подошел официант, чтобы узнать, что мы будем пить. Томасина все еще наблюдала за своим дымом.

– Очень сухой мартини с двумя оливками, – произнесла она и посмотрела на официанта. – Сейчас же пятница, – пояснила она, не отрывая от него взгляда, поправила волосы и отбросила их назад.

Официант улыбнулся.

– Я тоже выпью мартини, – сказал я.

Официант обернулся и посмотрел на меня, подняв брови, после чего снова взглянул на Томасину, улыбнулся и отошел.

Стоило ему удалиться, Томасина потянулась ко мне через стол, чтобы что-то сказать. Я тоже наклонился, и наши лбы соприкоснулись. И тут она спросила:

– И как он тебе?

– Кто?

– Он.

Она дернула головой в сторону официанта. Его напряженные ягодицы, покачиваясь, удалялись прочь.

– Он же просто официант.

– Я же не замуж за него собираюсь, Уолли. Мне от него нужна только сперма.

– Может, на гарнир подаст.

Томасина отодвинулась и затушила сигарету. Оглядев меня, она потянулась за сигаретой номер два.

– Ты опять начал сердиться?

– Я не сержусь.

– Сердишься, сердишься. Я тебе когда в первый раз об этом сказала, ты рассердился, и сейчас тоже.

– Я просто не понимаю, зачем тебе официант.

Она пожала плечами:

– Он хорошенький.

– Ты и получше найдешь.

– Где?

– Не знаю. Где угодно. – Я взял в руки суповую ложку и увидел в ней свое отражение – крохотное и искаженное. – Обратись в банк спермы. Выбери себе нобелевского лауреата.

– Мне не просто умный нужен. Мозги – это еще не все. – Томасина затянулась, прищурившись, после чего с мечтательным видом отвернулась. – Мне нужен полный набор.

Где-то с минуту я молчал. Взял в руки меню. Девять раз прочел слова «Fricassee de Laregeau»<sup>12</sup>. Меня тревожила мысль о природе. Мне становилось ясно – яснее, чем обычно, – что в природе мой статус был бы невысок. Где-то на уровне гиены. В цивилизации вроде бы дела у меня обстояли получше. Если смотреть прагматически, я ценный кадр. Например, неплохо зарабатываю. На пенсионном счету у меня аж двести пятьдесят четыре тысячи долларов. Но при выборе спермы деньги, очевидно, роли не играют. Куда важнее тугие ягодицы.

– Ты вообще против, так? – спросила Томасина.

– Я не против. Я просто не понимаю – если тебе хочется ребенка, может, лучше родить его вместе с кем-нибудь? С кем-то, кого ты любишь. – Я посмотрел на нее. – И кто любит тебя.

– Ну было бы неплохо, да. Но этому не бывать.

– Откуда ты знаешь? – сказал я. – Ты можешь в кого-нибудь влюбиться завтра. Или через полгода. – Я отвернулся и поскреб щеку. – Может, ты уже встретила любовь всей своей жизни, просто не знаешь об этом. – Я снова взглянул ей в глаза. – А потом ты все осознаешь, но будет уже поздно. Все. У тебя уже будет неизвестно чей ребенок.

Томасина качала головой.

– Мне сорок, Уолли. У меня мало времени.

– Так мне тоже сорок. Что ж теперь?

Она пристально взглянула на меня, словно почувствовав что-то в моем тоне, но отмахнулась:

– Ты мужчина. У тебя полно времени.

После обеда я пошел прогуляться. Стеклопанная дверь ресторана выпустила меня в зарождающийся вечер пятницы. В половину пятого в манхэттенских закоулках уже темнело. От погребенной в асфальте трубы в воздух поднимался пар. Вокруг нее стояло несколько туристов – они что-то басили по-шведски и дивились нашим уличным вулканам. Я тоже остановился посмотреть на пар. Думал я при этом об усталости. Дыме и усталости. В школьном автобусе Томасины был и мой ребенок. Наш ребенок. Мы встречались уже три месяца, когда она забеременела. Поехала в Нью-Джерси, чтобы поговорить с родителями, а через три дня вернулась, уже сделав аборт. Вскоре после этого мы и расстались. Иногда я думал о нем – или ней. Единственное мое дитя, и с ним благополучно разделались. Я и сейчас о нем думал. На кого он был бы похож? На меня? Глаза навывкате и нос картошкой? Или на Томасину? Хотелось бы верить, что на нее.

Следующие несколько недель не было никаких новостей. Я старался вообще об этом не думать. Но город не оставлял меня в покое. Город внезапно наводнили дети. Я видел их в лифтах, холлах и на тротуарах, прикованными к автомобильным сиденьям, слюнявых, плачущих, в парках, на шлейках. В метро они трогательно пялились на меня через плечи своих доминиканских нянек. Нью-Йорк не подходит для детей. Так почему все их рожают? Каждый пятый прохожий тащил на себе нечто, напоминавшее гусеницу в чепце. Они выглядели так, словно мечтали залезть обратно в матку.

Как правило, дети были с матерями. Я все гадал – кто же их отцы? Как они выглядят? Какого роста? Почему у них есть дети, а у меня нет? Как-то вечером я увидел целое семейство мексиканцев, вставшее лагерем в вагоне метро. Двое малышей цеплялись за трусики матери, а их новейшее поступление, гусеничка, завернутая в листок, посасывала грудной бурдюк матери. Напротив них сидел отец семейства, расставив ноги. Он держал пеленки и сумку с памперсами.

---

<sup>12</sup> Фрикасе из кролика (фр.).

На вид не больше тридцати, мелкий, коренастый, заляпанный краской, с плоским ацтекским лицом. Древним лицом, каменным, веками путешествовавшим во времени, чтобы состыковаться с этим комбинезоном, этим ревущим поездом, этим моментом.

Через пять дней пришло приглашение. Притаилось в почтовом ящике между счетами и каталогами. Увидев адрес Томасины, я разорвал конверт. Наверху листа была нарисована бутылка шампанского, извергавшая следующую надпись:

Ю!  
Не  
Ме  
Ре  
Бе  
Я

Внутри бодренькие зеленые буквы приглашали «вознести хвалу жизни» в субботу, тринадцатого апреля.

Как я узнал потом, дата была рассчитана крайне тщательно. С помощью специального термометра Томасина определила время овуляции. Каждое утро, не вылезая из кровати, она измеряла температуру и заносила результаты в график. Кроме того, она постоянно изучала свои трусики. Чистые белесые выделения означали, что яйцеклетка опустилась. К холодильнику был примагничен календарь, испещренный красными звездочками. Она не полагалась на волю случая.

Я хотел отказаться. Мысленно поперебирал воображаемые командировки и тропические болезни. Мне не хотелось идти. Мне вообще не хотелось, чтобы в мире существовали подобные вечеринки. Спросив себя, говорит во мне ревность или это просто консерватизм, я решил, что дело и в том, и в другом. Ну и, разумеется, в конце концов пошел. Не хотелось сидеть дома и гадать, что там происходит.

Томасина жила в этой квартире уже одиннадцать лет. Но тем вечером все выглядело иначе. Знакомый розовый ковер в крапушку, похожий на вареную колбасу, вел из холла мимо все того же высохшего цветка в горшке к желтой двери, которую я некогда открывал своим ключом. На дверном косяке болтались все те же мезузы, забытые предыдущими жильцами. Если верить латунной табличке с номером 2А, это была та же непомерно дорогая двухкомнатная квартира, в которой десять лет назад я девяносто восемь раз оставался на ночь. Но поступившись, а потом открыв дверь, я не узнал ее. Источниками света были лишь расставленные по гостиной свечи. Когда глаза привыкли, я добрался по стеночке к шкафу (он стоял там же, где и раньше) и повесил пальто. На сундуке рядом горела еще одна свеча и, приглядевшись, я начал понимать, какую тему выбрали Томасина и Диана для декора. Свеча представляла собой очень точную, хотя и варварски увеличенную копию эрегированного члена. Модель была гиперреалистичной – сеточка вен, отмель мошонки. Плавающий кончик освещал еще два предмета: глиняную реплику старинной ханаанской богини плодородия наподобие тех, что продаются в феминистских книжных лавках и нью-эйджевских магазинах, – живот куполом, неудержимые груди; и упаковку ароматических палочек «Любовь» с изображением сплетенных силуэтов.

Зрочки мои расширялись, и постепенно комната обретала очертания. Здесь было полно народу – человек семьдесят пять. Происходящее напоминало Хэллоуин. Женщины, которые весь год втайне мечтали надеть что-нибудь сексапильное, наконец воплотили свою мечту. На них были топики с глубоким декольте наподобие тех, что носили зайки из «Плейбоя», или ведьминские мантии с разрезами по бокам. Многие поглаживали те самые свечи или развлекались с расплавленным воском. Но они уже не были молоды. Здесь вообще не было молодых.

Мужчины выглядели так же, как и последние двадцать лет, – запуганными, но вполне дружелюбными. Вроде меня.

Тут и там открывали бутылки шампанского – прямо как на приглашении. Когда хлопала очередная пробка, кто-нибудь из женщин восклицал: «О, я тоже залетела!», и все хохотали. Наконец я опознал кое-что знакомое: музыку. Здесь играл Джексон Браун. Среди прочего в Томасине меня очень умиляла ее старомодная сентиментальная музыкальная коллекция. Она никуда не делась. Помню, как мы танцевали под этот альбом. Как-то ночью мы разделись и стали танцевать – обычное дело для самого начала отношений. Потом мы катались по ковру, голые, неловкие, и больше это никогда не повторялось. Я стоял и вспоминал, как кто-то вдруг подошел ко мне сзади.

– Привет, Уолли.

Я прищурился. Это была Диана.

– Умоляю, скажи, что нам не придется на это смотреть, – сказал я.

– Не парься. Все очень пристойно. Томасина все сделает потом, когда останется одна.

– Я ненадолго, – сообщил я, оглядывая комнату.

– Ты бы видел, какую спринцовку мы купили. За четыре доллара девяносто пять центов на распродаже на цокольном этаже «Мэйсис».

– Мне потом надо будет встретиться кое с кем.

– У нас и стаканчик для донора есть. Не смогли найти подходящий, поэтому купили детский, с крышкой. Роланд уже внес свою лепту.

Что-то застыло у меня в горле. Я сглотнул:

– Роланд?

– Он пришел пораньше. Мы дали ему на выбор «Хастлер» и «Пентхаус».

– Буду осторожнее копаться в холодильнике.

– Это не в холодильнике, а под раковиной в ванной. Я побоялась, что кто-то действительно выпьет.

– Разве сперму не надо держать в холоде?

– Мы уже через час ее используем. Не испортится.

Я почему-то кивнул. Почему-то я вдруг стал лучше видеть. На каминной полке стояли семейные фотографии. Томасина с папой. Томасина с мамой. Все семейство Дженевезе сидит на дубе.

– Считаю меня старомодным... – И я осекся.

– Не парься, Уолли! Выпей шампанского! Это праздник.

Напитками заведовала барменша. Я отмахнулся от шампанского и попросил стакан чистого виски. Ожидая его, я принялся искать взглядом Томасину.

– Роланд! – скептически сказал я себе под нос. Следовало ожидать чего-то подобного. От этого имени веет средневековыми легендами. – Сперма Роланда!

Пока я развлекался таким образом, кто-то сверху пробасил:

– Вы ко мне обращались?

Я поднял взгляд и увидел не солнце, но его антропоморфное воплощение. Он был одновременно и белокурый, и оранжевый, и огромный, и свеча, стоящая на книжной полке за ним, освещала его гриву, превращая ее в подобие гало.

– Мы знакомы? Меня зовут Роланд де Маршелье.

– Я Уолли Марс, – ответил я. – Так и думал, что это вы. Диана мне вас показала.

– Меня всем показывают. Чувствую себя каким-то призовым хряком, – посетовал он, улыбаясь. – Жена только что сказала, что нам пора. Мне удалось выторговать еще стаканчик.

– Вы женаты?

– Уже семь лет.

– И она не против?

– Ну, была не против. Сейчас я уже не уверен.

Что сказать о его лице? Оно было открытым. Привычным к тому, что на него смотрят, в него вглядываются. Кожа имела здоровый абрикосовый оттенок. Брови цвета того же абрикоса, кустистые, словно у старого поэта. Благодаря им лицо не выглядело чересчур мальчишеским. Томасина смотрела в это лицо. Она посмотрела на него и сказала – ты принят.

– У нас с женой двое детей. В первый раз нам долго не удавалось зачать, так что мы понимаем, каково это. Тревоги, время уходит, все такое.

– Ваша жена, видимо, очень свободомыслящая женщина, – заметил я.

Роланд прищурился, явно проверяя, насколько искренне я говорю, – очевидно, он не дурак. (Возможно, Томасина предварительно проверила его аттестат.) Все же он решил поверить мне.

– Говорит, что польщена. Я-то точно польщен.

– У нас с Томасиной был роман, – сказал я. – Мы жили вместе.

– Правда?

– Теперь просто дружим.

– Хорошо, когда так.

– Когда мы были вместе, она о детях не думала.

– Так оно всегда и бывает. Сначала считаешь, что все еще впереди, а потом раз – а время-то вышло.

– Видимо, тогда все было по-другому.

Роланд взглянул на меня, не понимая, о чем я, а потом посмотрел в другой конец комнаты, улыбнулся кому-то и приподнял стакан.

– Не работало, – сказал он мне. – Жена хочет домой. Приятно было познакомиться, Уолли.

Он поставил свой стакан.

– Продолжайте пахать, – сказал я, но он то ли не услышал меня, то ли притворился, что не слышит.

Виски уже кончился, и я взял себе еще и отправился искать Томасину. Пробился через гостиную, протиснулся через холл, оправил костюм. Несколько женщин взглянули на меня и отвернулись. Дверь спальни была закрыта, но мне захотелось ее открыть.

Она стояла у окна, курила и глядела на улицу. Она не слышала, как я вошел, а я ничего не сказал. Просто стоял и смотрел на нее. Какое платье надеть на Праздник осеменения? Ответ: именно то, что выбрала Томасина. Оно даже не было особенно вульгарным – закрывало ее от шеи до лодыжек. Однако между этими двумя пунктами ткань была искусно украшена множеством дырочек, позволявшим видеть то кожу бедра, то гладкий таз, то белый фрагмент груди. При взгляде на платье вам приходили на ум потайные отверстия, темные каналы. Я пересчитал видимые участки кожи. Два моих сердца – одно сверху, одно снизу – тяжело стучали.

Потом я сказал:

– Познакомился с призовым жеребцом.

Она повернулась ко мне и улыбнулась, хотя и не вполне убедительно:

– Роскошный, правда?

– Мне до сих пор кажется, что Айзек Азимов был бы лучше.

Она подошла, и мы чмокнули друг друга в щечки. Ну то есть я чмокнул. Она скорее поцеловала воздух. Ауру моей спермы.

– Диана говорит, что мне надо забыть про эту спринцовку и просто переспать с ним.

– Он женат.

– Да все они женаты. – Она сделала паузу. – Ты ж понимаешь.

Я не подал никаких знаков того, что понимаю.

– Что ты здесь делаешь?

Она два раза подряд коротко и сильно затянулась, словно для того, чтобы подкрепиться. Потом ответила:

– Психую.

– Что случилось?

Она прикрыла лицо рукой:

– Уолли, это такая тоска! Не так я хотела забеременеть. Мне казалось, что будет весело, но на деле получилась тоска. – Она опустила руку и взглянула мне в глаза. – Ну что, считаешь меня сумасшедшей? Да?

Она умоляюще приподняла брови. Я уже рассказывал вам о ее родинке? У Томасины на нижней губе родинка, вроде шоколадной крошки. Все пытаются ее стереть.

– Да нет, Том, я не считаю тебя сумасшедшей.

– Правда?

– Правда.

– Я тебе доверяю, Уолли. Ты недобрый, так что я тебе доверяю.

– В смысле – недобрый?

– Ну не в плохом смысле. В хорошем. Я не сумасшедшая?

– Ты хочешь ребенка. Это естественно.

Вдруг Томасина подалась вперед и уткнулась мне в грудь. Для этого ей пришлось нагнуться. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула. Я положил руку ей на спину. Отыскав пальцами дырочку, стал поглаживать кожу.

– Ты все понимаешь, Уолли, – сказала она благодарно и нежно.

Она выпрямилась и улыбнулась, оглядела свое платье, поправила его так, чтобы был виден пупок, и взяла меня за руку:

– Пойдем, надо вернуться на вечеринку.

Дальнейшего я не ожидал. Когда мы вышли, все заплотировали. Томасина держала меня за руку, и мы принялись махать присутствующим, словно монаршья чета. На мгновение я забыл, зачем мы здесь собрались. Просто стоял рука об руку с Томасиной и принимал аплодисменты. Когда все утихло, я услышал, что по-прежнему играет Джексон Браун. Я наклонился к Томасине и прошептал:

– Помнишь, как мы под него танцевали?

– Мы под него танцевали?

– Ты не помнишь?

– Да у меня уже сто лет этот альбом. Я миллион раз под него танцевала.

Она отпустила мою руку.

Мой стакан снова опустел.

– Можно задать тебе вопрос, Томасина?

– Какой?

– Ты вообще думаешь о нас с тобой?

– Уолли, не стоит.

Она отвернулась и опустила взгляд, после чего сказала:

– Я тогда была сама не своя. Вряд ли была способна на отношения. – Голос ее звучал нервно и резко.

Я кивнул. Я сглотнул. Велел себе не задавать следующий вопрос. Оглядел камин, словно он очень меня интересовал, а потом все равно спросил:

– А о ребенке нашем ты думаешь?

У нее слегка дернулся левый глаз – только так и можно было понять, что она меня услышала.

Она глубоко вдохнула и выдохнула:

– Это было давно.

– Знаю. Просто я вижу, как тебе сложно, и думаю, что все могло бы быть иначе.

– Вряд ли. – Она сняла с моего пиджака пушинку, нахмурилась. Потом выбросила ее. – Господи! Иногда жалею, что я не Беназир Бхутто или кто-нибудь в этом роде.

– Тебе хотелось бы стать премьер-министром Пакистана?

– Мне хотелось бы, чтобы меня выдали замуж по расчету. Мы бы с мужем переспали, а потом он пошел бы играть в поло.

– Правда?

– Нет, конечно. Это было бы ужасно.

Прядь упала ей на глаза, и Томасина отбросила ее. Оглядела комнату. Потом выпрямилась и сказала:

– Мне надо пообщаться с другими гостями.

Я поднял стакан.

– Плодись и размножайся, – произнес я.

Томасина сжала мне руку и отошла.

Я остался стоять на месте, якобы попивая из пустого стакана, чтобы занять руки. Оглядел комнату в поисках незнакомых женщин. Таких здесь не было. Подойдя к бару, я попросил шампанское. Барменша трижды наполняла мой бокал. Ее звали Джулия, и она занималась историей искусств в Колумбийском университете. Пока я стоял у бара, Диана вышла в центр комнаты и постучала по бокалу. Остальные тоже зазвенели бокалами, и постепенно стало тихо.

– Прежде чем мы всех выгоним, – начала Диана, – мне бы хотелось поблагодарить нашего щедрого донора Роланда. Мы искали по всей стране и, можете поверить, конкуренция была очень высока.

Все рассмеялись. Кто-то крикнул:

– Роланд ушел!

– Ушел? Что ж, выпьем за его сперму. Она-то у нас осталась!

Снова смех. Чьи-то пьяные возгласы. Теперь и женщины, и мужчины взялись за свечи и начали ими размахивать.

– И наконец, – продолжала Диана, – мне бы хотелось поздравить нашу будущую – тьфу-тьфу-тьфу! – мать. Она бесстрашно добывала орудие производства, и ее пример нас всех очень вдохновляет!

Томасину вытащили в центр комнаты. Все улюлюкали. Волосы ее растрепались, она покраснела и заулыбалась. Я тронул руку Джулии, протянул ей свой стакан. Все смотрели на Томасину, и я украдкой проскользнул в ванную.

Закрыв за собой дверь, я сделал то, что делаю очень редко, – посмотрел на себя в зеркало. Я перестал этим заниматься лет двадцать назад. Разглядывать свое отражение хорошо, когда тебе тринадцать. Но тем вечером я снова этим занялся. Стоя в ванной Томасины, где мы когда-то намыливали и поливали друг друга из душа, стоя в этом веселеньком ярком гроте, я представлял себе самого себя. Знаете, о чем я думал? О природе. Я снова думал о гиенах. Гиена, вспоминал я, это опасный хищник. Иногда гиены даже нападают на львов. Внешне они не очень, но живут неплохо. Я поднял бокал и произнес самому себе тост:

– Плодись и размножайся!

Чашка стояла именно там, где сказала Диана. Роланд с религиозной аккуратностью разместил ее на мешочке с ватными шариками. Детский стаканчик покоился на маленьком облаке. Я открыл его и осмотрел содержимое. Желтоватая слизь едва покрывала дно. Внешне она напоминала резиновый клей. Кошмар, если вдуматься. Ужасно, что женщинам необходима эта субстанция. Есть в этом что-то жалкое. Иметь все необходимое для создания новой жизни, кроме этой презренной закваски. Я выплеснул Роланда под кран. Потом проверил, заперта ли дверь. Мне бы не хотелось, чтобы меня кто-нибудь застукал.

Это было десять месяцев назад. Вскоре после этого То-масина забеременела. Она раздулась до невероятных размеров. Я был в командировке, когда она родила с помощью акушерки в больнице святого Винсента, но вернулся как раз вовремя, чтобы получить письмо:

*«Томасина Дженовезе с гордостью сообщает о том,  
что 15 января 1996 года у нее родился сын,  
Джозеф Марио Дженовезе,  
5 фунтов 3 унции».*

Уже по весу ребенка все было понятно. Я удостоверился на следующий день, когда принес наследнику ложечку Тиффани и заглянул в колыбель. Нос картошкой. Глаза навывкате. Я ждал десять лет, чтобы увидеть это личико в окне школьного автобуса. Теперь же мне оставалось лишь помахать ему на прощание.

1995

## Старинная музыка

Войдя в дом, Родни сразу же направился в музыкальную комнату. Он называл эту комнату музыкальной – вроде бы иронично, но и с робкой надеждой. Это была тесная изогнутая четвертая спальня, которая образовалась, когда здание нарезали на квартиры. Музыкальной она называлась потому, что там жил его клавикорд.

Вот он, стоит на пыльном полу. Яблочно-зеленый с золотой каемкой. Если поднять крышку, откроется изображение геометрических аллей французского парка. Его модель повторяла клавикорды Бодехтеля конца восемнадцатого века, но Родни приобрел его три года назад в магазине «Старинная музыка» в Эдинбурге. Однако он возвышался в тусклом свете (за окном была чикагская зима) так величественно, словно дожидался Родни не девять с половиной часов утра, а по меньшей мере пару веков.

Для клавикорда такая огромная комната не требовалась. Клавикорд – это вам не рояль. Спинеты, вирджиналы, фортепиано, клавикорды и даже клавесины – относительно небольшие инструменты. Музыканты, что играли на них в восемнадцатом веке, были маленькими. Родни, однако, довольно большой – шесть футов три дюйма. Он аккуратно присел на узкую табуретку, осторожно уместил колени под клавиатурой и начал с закрытыми глазами играть прелюдию Свелинка.

Старинная музыка крайне рассудочна, математически точна и немножко скованна – таков был и сам Родни. Он был таким задолго до того, как впервые увидел клавикорд или начал писать докторскую диссертацию (так и не законченную) о темперировании в период немецкой Реформации. Погружение в работы Баха-отца и сыновей только укрепило природные склонности Родни. Вторым предметом мебели в комнате был тиковый столик. В его ящичках и отделениях в идеальном порядке хранились бумаги Родни: страховые документы, различные инструкции в алфавитном порядке вместе с соответствующими гарантиями, записи о прививках близняшек, их свидетельства о рождении и карточки соцобеспечения, а кроме того, финансы: сумма месячных бюджетов за три года, включая расходы на содержание дома, с учетом, в том числе, максимально допустимой стоимости отопления. Родни поддерживал в квартире бодрящую температуру – четырнадцать с половиной градусов. Немного холода еще никому не повредило. Холод был подобен Баху: он очищал разум. Наверху лежала папка за этот месяц с надписью «Фев. 05». Там были три выписки с кредитной карты с пугающим остатком на счету и переписка с коллекторами, которые преследовали Родни за задержку ежемесячных платежей в магазин «Старинная музыка».

Он играл, выпрямив спину, и лицо его подергивалось. Глазные яблоки за опущенными веками подрагивали в такт звукам.

В этот момент дверь распахнулась, и шестилетняя Имо-джин рявкнула, словно портовый грузчик:

– Папа! Ужинать!

Выполнив поручение, она снова захлопнула дверь. Родни остановился. Глянув на часы, он увидел, что играл (занимался) ровно четыре минуты.

Родни вырос в доме, где соблюдали чистоту и порядок. Тогда было так заведено. Полагалось делать уборку. Матери полагалось, конечно. Выбитые ковры, сверкающие чистотой кухни, рубашки, которые чудесным образом сами исчезали с пола и появлялись свежевыглаженными в шкафу, – все это осталось в прошлом. Дома как хорошо отлаженного механизма более не существовало. Женщины променяли его на работу.

Да если даже и не променяли. Ребекка, жена Родни, работала дома, в маленькой спальне. Правда, она называла ее не спальней, а кабинетом. У Родни была музыкальная комната, в кото-

рой он понемножку занимался. У Ребекки был кабинет, в котором она понемножку работала. Но она проводила там много времени, дни напролет, а Родни работал в городе – в настоящем кабинете.

Покинув убежище музыкальной комнаты, Родни принялся огибать картонные коробки, рулоны пупырчатой пленки и разбросанные игрушки. Протиснувшись в гостиную мимо отряда зимних пальто, под которыми стояли грязные сапоги и валялись разрозненные варежки, он вдруг наступил на что-то, напоминавшее одну из них. Но оказалась, что это плюшевая мышь. Родни со вздохом поднял ее. Она была чуть больше настоящей, нежно-голубого окраса и в черном беретике. Судя по всему, у нее имелся врожденный дефект— волчья пасть.

– Тебе же полагается быть милой, – сказал Родни мыши. – Соберись уже.

Мышами Ребекка и занималась. Они составляли линейку «Мышки-пышки», в которую на данный момент входили четыре персонажа: Модернистская Мышь, Богемная Мышь, Мышь-Серфреалист и Мышь – Дитя Цветов. Все эти творческие грызуны были набиты ароматическими гранулами, и их было необычайно приятно тискать. Предполагалось, что покупатели (будущие) будут совать мышек в микроволновку и доставать их оттуда теплыми и ароматными.

Родни принес мышь на кухню в сложенных ладонях, словно раненого зверька.

– Беглянка, – сказал он вместо приветствия.

Ребекка стояла у раковины и сливала воду из-под макарон. Взглянув в его сторону, она нахмурилась:

– Выброси. Эта не удалась.

Близняшки за столом издали тревожный вопль. Им не нравилось, когда мыши заканчивали свой жизненный путь. Сорвавшись с мест, они бросились к отцу.

Родни поднял Богемную Мышь повыше.

Имми, которая унаследовала от матери острый подбородок и ясноглазую решительность, залезла на стул. Талула, более склонная поддаваться инстинктам, принялась карабкаться вверх по ноге отца.

Пока происходило это бесчинство, Родни обратился к Ребекке:

– Дай угадаю. Проблемы со ртом?

– Именно, – ответила Ребекка. – И с запахом. Понюхай ее.

Чтобы сделать это, Родни пришлось повернуться, сунуть мышь в микроволновку и нажать кнопку. Через двадцать секунд он вытащил теплую мышь и поднес ее к носу.

– Все не так плохо, – сказал он. – Но я понимаю, о чем ты. Многовато подмышечных нот.

– Это должен был быть мускус.

– С другой стороны, от богемы часто пованивает.

– У меня пять кило мускусных гранул, которые можно разве что выбросить, – простонала Ребекка.

Родни пересек кухню и поднял крышку, нажав на педаль мусорного ведра. Он бросил мышь внутрь и закрыл ведро. Это было приятно. Он с удовольствием выбросил бы ее снова.

Возможно, покупка клавикорда была не самым удачным шагом. Во-первых, он обошелся в небольшое состояние, которого у них не было. Кроме того, Родни уже десять лет как перестал играть профессионально. После рождения близнецов он вообще бросил музыку. Ради того, чтобы иметь возможность приехать к Гайд-парку от Логан-сквер, несколько раз обогнуть его в поисках места для автомобиля (как говорится, парк – это еще не парковка), вытащить из бумажника удостоверение Чикагского университета, прикрывая пальцем безнадежно устаревшую фотографию, и помахать им охраннику, который на час пустит его в комнату 113, где стоял потрепанный, но не вполне расстроенный университетский клавикорд, – ради этого, ради того, чтобы не терять формы, Родни готов был исполнять все эти бурре и пируэты, но с появлением детей это стало слишком сложно. В те дни, когда Родни и Ребекка еще писали диссертации

(пока не появились дети, они были предельно сконцентрированы на цели и жили на йогурте и пивных дрожжах), Родни по три-четыре часа в день играл на факультетском клавинофорде. Клавесин в соседней комнате пользовался огромным успехом, но клавинофорд всегда был свободен. Дело в том, что клавинофорд был педальный – редкий зверь, с которым никому не хотелось связываться. Это была очень приблизительная копия инструмента начала восемнадцатого века, и педальный механизм, изрядно оттоптаный каким-то толстопятым студентом, работал довольно своеобразно. Но Родни привык к нему, и с тех пор клавинофорд стал вроде как его личным инструментом, пока он не ушел из университета, не стал отцом, не обзавелся работой к северу от Темзы в школе народной музыки, где давал уроки фортепиано.

Проблема со старинной музыкой заключалась в том, что никто не знал, как она звучала. Споры о том, как настроить клавесин или клавинофорд составляли изрядную часть науки. Все задавались вопросом: как же сам Бах настраивал свой клавесин? Но этого никто не знал. Все спорили, что же он имел в виду, говоря о *wohltemperirt*<sup>13</sup> клавире. Они настраивали свои инструменты на исторический манер и изучали нарисованные от руки схемки на титульных страницах сочинений Баха.

Родни собирался раз и навсегда решить этот вопрос в своей диссертации. Он хотел точно установить, как Бах настраивал клавесин, как звучала его музыка в то время, а значит, понять, как ее играть сейчас. Для этого он отправился бы в Германию, вернее, в Восточную Германию, в Лейпциг, чтобы исследовать тот самый клавесин, на котором играл Бах и на клавишах которого, по слухам, Мастер оставил пометки относительно настройки. Осенью 1987 года Родни на средства от докторского гранта отправился в Западный Берлин вместе с Ребеккой, которая как раз получила стипендию в Freie Universitat<sup>14</sup>. Они сняли двухкомнатную квартирку вблизи Савиньи-плац с сидячим душем и типично немецким унитазом с плоским дном. Их арендодателем был некий Франк из Монтаны, который приехал в Берлин, чтобы строить декорации для экспериментальных спектаклей. Кроме того, эту квартиру использовал кто-то из женатых профессоров для встреч с девушками. Занимаясь сексом в постели, покрытой фланелевой простыней, Ребекка и Родни то и дело натывались на чьи-то лобковые волосы. Бритвенные принадлежности профессор хранил в тесной вонючей ванной. Фекалии падали в немецкий унитаз и приземлялись на полочку в чаше. Все это было бы невыносимо, не будь они двадцатилетними, влюбленными и нищими. Родни и Ребекка постирали простыни и повесили их сушиться на балкон. Привыкли к грязной ванной. Унитаз тем не менее по-прежнему вызывал у них отвращение, и они не переставали жаловаться на него.

Западный Берлин оказался вовсе не таким, как представлял Родни. Он совершенно не походил на старинную музыку. Западный Берлин был иррациональным, вовсе не математичным и скорее расслабленным, чем скованным. Здесь повсюду были военные вдовы, уклонисты, анархисты. Родни не нравился табачный дым. От пива его пучило. Поэтому он при всякой возможности искал укрытия в филармонии или опере.

Ребекка справлялась лучше. Она подружилась с жильцами *Wohngemeinschaft*<sup>15</sup> этажом выше. Шесть юных немцев в мягких маоистских тапочках, ножных браслетах или ироничных моноклях жили вскладчину, менялись партнерами и до хрипоты спорили о кантовской этике применительно к проблемам дорожного движения. Каждые несколько месяцев один из них отправлялся куда-то в Тунис или Индию, либо же возвращался в Гамбург, чтобы заняться семейным экспортным бизнесом. По настоянию Ребекки Родни вежливо посещал их вечеринки, но неизменно чувствовал себя там чересчур лощеным, слишком аполитичным, вопиюще американским.

<sup>13</sup> Хорошо темперированный (*нем.*).

<sup>14</sup> Свободный университет (*нем.*) – крупнейший университет в Берлине.

<sup>15</sup> Коммунальной квартиры (*нем.*).

Когда Родни пришел в октябре в посольство ГДР за академической визой, там сообщили, что его запрос отклонен. Мелкий дипломат, который принес эту весть, ничем не напоминал функционера из Восточного блока – это был дружелюбный, нервный, лысеющий мужчина, который явно искренне сочувствовал Родни. Он рассказал, что сам родился в Лейпциге и в детстве посещал Томаскирхе, в которой Бах был дирижером. Родни обратился в американское посольство в Бонне, но они были бессильны. Он в панике позвонил в Чикаго своему наставнику, профессору Брескину, который в тот момент разводился и не слишком ему сочувствовал.

– А других идей для диссертации у вас нет? – спросил он язвительно.

Липы на Курфюрстендамм уронили листья. По мнению Родни, они недостаточно пожелтели и покраснели, чтобы умирать. Но такой уж была прусская осень. Зима тоже так до конца и не стала зимой – дождь, серое небо, мелкий снег, сырость, которая пробирала Родни до костей, пока он брел с одного церковного концерта на другой. Ему осталось шесть месяцев в Берлине, и он понятия не имел, чем заняться. А в начале весны случилось чудо. Лиза Тернер, культурный атташе американского посольства, пригласила Родни проехать по Германии с турне, исполняя произведения Баха в рамках программы американо-германской дружбы – *Deutsche-Amerikanische Freundschaft*. Полтора месяца Родни путешествовал по мелким городкам Швабии, Баварии, Северного Рейна и Вестфалии и выступал с концертами в местных залах. Он останавливался в гостиницах, напоминавших кукольные домики и украшенных совершенно кукольными финтифлюшками, почивал на односпальных кроватях под восхитительно мягкими одеялами. Лиза Тернер сопровождала его в пути и следила, чтобы он ни в чем не нуждался, а главное – заботилась о его компаньоне. Речь не о Ребекке – она осталась в Берлине и писала первый черновик своей работы. Компаньоном Родни был клавикорд, созданный мастером Гассом в 1761 году, – самый великолепный, выразительный и капризный инструмент, которого когда-либо касались дрожащие, восхищенные пальцы Родни.

Родни не был знаменит. А вот клавикорд Гасса – был, и в Мюнхене перед началом концерта в ратуше его сфотографировали для трех различных газет. Родни стоял сзади, как простой слуга.

Родни не тревожило, что зрителей собирается мало, что большинство из них уже вышли на пенсию, а лица их заострились от многолетнего наслаждения высокой культурой, что через пятнадцать минут после начала пьесы Шейдемана треть аудитории засыпает с открытыми ртами, словно они подпевают или на что-то жалуются. Родни впервые в жизни платили. Лиза Тернер оптимистично бронировала залы на две-три сотни посетителей. Поскольку на концерты приходило то двадцать пять, то шестнадцать, то (в Гейдельберге) три человека, Родни казалось, что он один и играет самому себе. Он старался услышать ноты, которые Мастер играл более двухсот лет назад, подхватить их и воспроизвести. Он словно возрождал Баха и одновременно путешествовал в прошлое. Об этом он и думал, пока играл в просторных гулких залах.

Клавикорду это все нравилось куда меньше. Он часто жаловался. Ему не хотелось возвращаться в 1761 год. Он поработал на славу и хотел отдохнуть, уйти на пенсию, прямо как его слушатели. Его тангенты<sup>16</sup> сломались и требовали ремонта. Каждый вечер умирала очередная клавиша.

Но старинная музыка продолжала звенеть, чопорно и хрупко, а Родни, ее проводник, балансировал на стуле, словно всадник на крылатом коне. Клавиатура вздымалась и опадала, и музыка неслась дальше.

Вернувшись в Берлин в конце мая, Родни обнаружил, что его интерес к чистому музыковедению поукал. Теперь он даже не был уверен, что хочет стать ученым. Он начал размыш-

---

<sup>16</sup> Тангенты – металлические клинышки, присоединявшиеся к задним концам клавиш старинных клавикордов. Благодаря им извлекался особый звук, похожий на тот, который издавали смычковые инструменты. – *Примеч. ред.*

лять о том, чтобы вместо диссертации поступить в Королевскую академию музыки в Лондоне и выбрать карьеру исполнителя.

Тем временем Западный Берлин перекраивал Ребекку. Казалось, что в этом закрытом дотационном полугороде никто не работает. Камрады в *Wohngemeinschaft* убивали время, ухаживая за печальными апельсиновыми деревьями на цементном балконе. Ребекка устроилась волонтером в театр «Шварцфарер» и исполняла электронный аккомпанемент в духе «Крафтверка» и Курта Вайля для устаревших антиядерных постановок. Она засиживалась вечерами, поздно вставала и мало продвинулась в исследовании теоретических концептов потребления музыки в Германии восемнадцатого века в изложении «*Allgemeine Theorie der schonen Künste*» Иоганна Георга Зульцера. Если быть точным, за время отсутствия Родни Ребекка написала пять страниц.

Они провели замечательный год в Берлине. Но в процессе написания докторских диссертаций оба пришли к неизбежному выводу: им вовсе не хотелось становиться докторами чего бы то ни было.

Они вернулись в Чикаго, и жизнь поползла дальше. Родни вступил в музыкальную группу, игравшую на старинных клавишных и изредка дававшую концерты. Ребекка занялась рисованием. Они переехали в Бактаун, а оттуда – на Логан-сквер. Они едва сводили концы с концами. Жили, как Богемные Мыши.

Сороковой день рождения Родни встретил с простудой. С утра он обнаружил, что у него температура выше тридцати девяти, позвонил в школу, чтобы отменить занятия, и забрался обратно в кровать.

Днем Ребекка с девочками принесли ему очень странный торт. Сквозь распухшие веки Родни увидел кексовый корпус, марципановые клавиши и шоколадную крышку, поддерживаемую мятной палочкой.

Ребекка подарила ему билет в Эдинбург и первый взнос в магазин «Старинная музыка». Давай, сказала она. Решайся. Тебе это необходимо. Мы справимся. Мыши понемногу продаются.

Это было три года назад. Теперь же они собрались за колченогим кухонным столом, который купили в комиссионке.

– Не бери трубку, – предупредила Ребекка.

Близняшки, как обычно, ели макароны без ничего. Взрослые – гурманы! – поедали макароны с соусом.

– Они уже шесть раз сегодня звонили.

– Кто? – спросила Имми.

– Никто.

– Женщина? – уточнил Родни. – Дарлин?

– Нет. Новенький кто-то. Мужчина.

Плохой признак. Дарлин практически стала им родной. Учитывая, сколько писем она им написала (шрифт становился все больше), сколько раз позвонила, сначала вежливо напоминая про деньги, потом требуя и, наконец, угрожая, с учетом того, что они все-таки платили, – Дарлин стала для них кем-то вроде сестры-алкоголички или кузины с игровой зависимостью. Правда, в этом случае высшая справедливость была на ее стороне. Это не Дарлин задолжала двадцать семь тысяч долларов под восемнадцать процентов.

Дарлин звонила им из телефонного улья – было слышно, как жужжат бесчисленные трудовые пчелки. Их работа заключалась в том, чтобы собирать пыльцу. Для этого они усердно били крылышками, а при необходимости доставали жало. Родни был музыкантом и прекрасно все это слышал. Иногда он уходил в свои мысли и забывал о сердитой пчеле, которая преследовала его.

Дарлин умела напомнить о себе. В отличие от работников телемагазина, она не допускала ошибок. Она не путала имя или адрес Родни, она выучила их наизусть. Поскольку сопротивляться незнакомцу гораздо легче, она представилась во время первого же звонка. Она обрисовала свою задачу и дала понять, что никуда не денется, пока не выполнит ее.

И вот теперь ее нет.

– Мужчина? – переспросил Родни.

Ребекка кивнула:

– Не очень приятный.

Имми замахала вилкой:

– Ты же сказала, что никто не звонил! Мужчина – это не никто!

– Я имела в виду, что ты его не знаешь, милая. Не думай об этом.

В этот момент зазвонил беспроводной телефон, и Ребекка сказала:

– Не отвечай.

Родни взял салфетку (на самом деле это было бумажное полотенце) и сложил у себя на коленях.

– Звонить во время ужина очень невежливо! – пропищал он, чтобы повеселить девочек.

Первые два года Родни вносил платежи вовремя. Но потом он бросил преподавать в школе народной музыки и попытался открыть частную практику. Ученики приходили к нему домой, и он занимался с ними на том самом клавиноде (объясняя родителям, что это прекрасная подготовка к игре на пианино). Некоторое время Родни зарабатывал вдвое больше, чем раньше, но потом ученики начали исчезать. Клавинод никому не нравился. У него странный звук, говорили дети. Девчоночий инструмент, сказал один мальчик. В панике Родни арендовал кабинет с пианино и стал проводить уроки там, но вскоре уже зарабатывал меньше, чем в школе. Тогда он бросил уроки музыки и устроился на нынешнюю работу – в регистратуре поликлиники.

К этому моменту он, конечно, уже просрочил платежи в магазин «Старинная музыка». Процентная ставка выросла, а потом (мелкий шрифт) взмыла до небес. После этого ему уже не удавалось поправить дело.

Дарлин грозила изъятием, но пока что этого не произошло, и Родни продолжал играть на клавиноде – пятнадцать минут утром, пятнадцать минут вечером.

– Но есть и хорошие новости, – сказала Ребекка, когда телефон утих. – Я нашла нового клиента.

– Отлично. Кто это?

– Канцелярский магазин в Дес-Плейнсе.

– И сколько мышей они хотят?

– Двадцать. Для начала.

Родни мог отличить квинты в строе баховского клавира, темперированные на  $\frac{1}{6}$  коммы (фа-до-соль-ре-ля-ми), от чистых (ми-си-фа-диез-до-диез) и от жутких квинт, темперированных на  $\frac{1}{12}$  коммы (до-диез-соль-диез-ре-диез-ля-диез), поэтому ему не составляло труда посчитать: каждая мышь стоила пятнадцать долларов, из которых Ребекка брала себе сорок процентов, то есть шесть долларов за мышь. Поскольку на производство одной мыши уходило около трех с половиной долларов, то прибыли оставалось два с половиной доллара. Умножить на двадцать – получается пятьдесят баксов.

Он произвел еще один расчет: двадцать семь тысяч долларов поделить на два с половиной – получалось десять тысяч восемьсот. Для начала канцелярскому магазину требовалось двадцать тысяч мышей. Чтобы заплатить за клавинод, Ребекке надо было бы продать больше десяти тысяч мышей.

Родни посмотрел на жену тусклым взглядом.

На свете было множество женщин с настоящими работами. Просто Ребекка не входила в их число. В наши дни любое женское занятие называется работой. Если мужчина шьет мышей, его в лучшем случае назовут неудачником, а в худшем – лентяем. Но если женщина, закончившая магистратуру и почти получившая степень по музыковедению, занимается изготовлением ароматизированных грызунов для микроволновки, принято говорить, что у нее свое дело (особенно среди ее замужних подружек).

Разумеется, из-за своей «работы» Ребекка не могла полноценно заботиться о близнецах, и им пришлось нанять няню, недельный заработок которой превышал доход от продажи мышей (поэтому они выплачивали лишь минимальные платежи по кредиткам, все глубже и глубже утопая в долгах). Ребекка много раз порывалась отказаться от мышей и найти работу со стабильной зарплатой. Но Родни хорошо знал, что такое бессмысленная любовь, и всегда говорил: «Давай подождем еще несколько лет».

Почему же считалось, что у Родни есть работа, а у Ребекки нет? Во-первых, он зарабатывал. Во-вторых, ему приходилось совершать насилие над собой, чтобы угодить работодателю. И в-третьих, ему это все не нравилось. Это самый верный признак того, что у вас есть работа.

– Пятьдесят долларов, – сказал он.

– Что?

– Это прибыль с двадцати мышей. До налогов.

– Пятьдесят долларов! – воскликнула Талула. – Ого!

– Это всего один счет, – сказала Ребекка.

Родни захотелось спросить, сколько у нее вообще этих счетов. Ему хотелось потребовать ежемесячный отчет, в котором указывались бы задолженности и поступления. Он был уверен, что у Ребекки есть все данные – они нацарапаны на обороте какого-нибудь конверта. Но он ничего не сказал, так как за столом сидели девочки. Он просто встал и начал убирать со стола.

– Уберу посуду, – произнес он, словно занялся этим впервые.

Ребекка загнала девочек в гостиную и усадила перед взятым в прокат DVD. Обычно полчаса после ужина уходили у нее на то, чтобы позвонить китайским поставщикам (у них как раз наступало завтрашнее утро) или матери, которая страдала ишиасом. Стоя в одиночестве у раковины, Родни оттирал тарелки и покрытые кефиром стаканы, кормил драконоподобный измельчитель отходов, таящийся где-то в глубине. У настоящего музыканта были бы застрахованы руки. Но даже если Родни и сунул бы пальцы прямо во вращающиеся ножи – что с того?

Логично было бы оформить страховку и только потом сунуть руку в измельчитель. Тогда он расплатился бы за клавикорд и смог бы каждый вечер играть на нем перебинтованной культией.

Может быть, если бы он остался в Берлине, если бы поступил в Королевскую академию, не женился бы, не обзавелся детьми, – может быть, тогда он не бросил бы музыку. Возможно, прославился бы на весь мир, как Менно ван Делфт или Пьер Гуа<sup>17</sup>.

Открыв посудомойку, Родни увидел, что в ней стоит вода. Сливная труба была установлена неправильно: хозяин квартиры обещал починить ее, но так этого и не сделал. Некоторое время Родни пиялся на ржавую воду, словно был сантехником и понимал, что с этим делать, но в итоге просто-напросто залил моющее средство, закрыл дверцу и включил машину.

Когда он вышел в гостиную, там уже было пусто. На экране телевизора под повторяющуюся музыку светилось меню управления DVD. Родни выключил телевизор и направился к спальням. В ванной бежала вода, и он слышал, как Ребекка пытается утихомирить близняшек. Он прислушался к голосам дочерей. Это была новая музыка, и ему хотелось еще немного ее послушать, но вода шумела слишком громко.

---

<sup>17</sup> Менно ван Делфт – современный нидерландский исполнитель старинной музыки. Пьер Гуа – швейцарский пианист.

В те вечера, когда Ребекка купала девочек, Родни должен был читать им перед сном. Он шел по коридору к детской мимо кабинета Ребекки и вдруг сделал то, чего обычно не делал: остановился. Родни завел привычку опускать взгляд, минуя кабинет Ребекки. Так было лучше для его эмоционального равновесия – пусть там творится что угодно, только не у него на глазах. Но сегодня он повернулся и посмотрел на дверь. А потом толкнул ее своей незастрахованной правой рукой.

Масса рулонов пастельной ткани, напоминавших бревна, толпилась вокруг длинных рабочих столов, теснила швейную машину, стекала по полу. В этом потоке сталкивались между собой катушки с лентами, пробитые мешки парфю-мированных гранул, булавки, пуговицы. На этих бревнах по комнате плыли четыре вида мышек-пышек – некоторые залихватски балансировали, словно заправские дровосеки, другие в ужасе цеплялись за ткань, точно жертвы потопа.

Родни уставился на их личики, глядевшие снизу вверх – кто с мольбой, кто с апломбом. Он рассматривал их, пока это не стало невыносимым, – то есть в течение примерно десяти секунд. Потом повернулся и, тяжело ступая, вышел в коридор. Проследовал мимо ванной, не остановившись, чтобы послушать голоса Имми и Лулы, вошел в музыкальную комнату и захлопнул за собой дверь. Усевшись за кла-викорд, он набрал в грудь воздуха и начал играть одну из партий ми-бемольного дуэта Мютеля.

Это была сложная пьеса. Иоганн Готтфрид Мютель, последний ученик Баха, был сложным композитором. Он всего три месяца учился у Баха. После этого уехал в Ригу и растворился в балтийских сумерках своего гения. Теперь уже мало кто знал, кто такой Мютель. Только те, кто играл на клавиборде. Для них сыграть Мютеля было наивысшим достижением.

Родни хорошо начал.

Десять минут спустя Ребекка сунула голову в дверь.

– Девочки уже готовы, – сообщила она.

Родни продолжал играть.

Ребекка повторила то же громче, и Родни остановился.

– Сама почитай им, – ответил он.

– Мне надо позвонить.

Родни сыграл ми-бемольную гамму правой рукой.

– Я занимаюсь, – сказал он и посмотрел на свою руку, словно ученик, впервые сыгравший гамму, и не отрывал от нее взгляда, пока Ребекка не исчезла. Тогда он встал и едва ли не с яростью хлопнул дверью. Вернувшись за клавиборд, он начал пьесу с самого начала.

Мютель написал немного. Он сочинял, только если у него было настроение. Прямо как Родни. Родни играл, только если у него было настроение.

Сегодня вечером оно было. Следующие два часа Родни снова и снова играл дуэт Мютеля.

Он играл хорошо, с большим чувством. Но делал ошибки. Он не сдавался. Чтобы немного утешиться, сыграл напоследок французскую сюиту Баха в ре-миноре – он играл ее много лет и знал наизусть.

Вскоре он раскраснелся и вспотел. Хорошо было снова играть так самоотверженно и пылко. Когда он наконец закончил, колокольные ноты все еще звенели у него в ушах и отражались от низкого потолка. Родни опустил голову и закрыл глаза. Он вспоминал те полтора месяца, когда ему было двадцать шесть, когда он самозабвенно и незримо играл в пустых концертных залах ФРГ. На столе за ним зазвонил телефон, Родни повернулся и взял трубку:

– Алло.

– Добрый вечер, это Родни Веббер?

Родни осознал свою ошибку, но ответил:

– Он самый.

– Меня зовут Джеймс Норрис, я представляю компанию «Ривз коллекшен». Мне известно, что вы уже знакомы с нашей организацией.

Если повесить трубку, они позвонят снова. Если сменить номер, они найдут новый. Единственный путь – попытаться договориться, приостановить их, наобещать с три короба и выиграть немного времени.

– Боюсь, что очень хорошо знаком. – Родни пытался нащупать нужный тон – легкий, но не безразличный или неуважительный.

– Насколько я понимаю, ранее вы общались с мисс Дарлин Джексон. Она занималась вашим делом. До настоящего момента. Теперь им занимаюсь я, и мне хочется верить, что мы с вами что-нибудь придумаем.

– Я тоже на это надеюсь, – сказал Родни.

– Мистер Веббер, я берусь за дело, если оно запутывается, и пытаюсь распутать. Как я вижу, мисс Джексон предлагала вам различные планы выплат.

– В декабре я перевел вам тысячу долларов.

– Это так. И это было хорошее начало. Согласно записям, вы договорились перевести две тысячи долларов.

– Мне не удалось собрать так много денег. Было Рождество.

– Мистер Веббер, давайте не будем усложнять дело. Вы перестали вносить платежи нашему клиенту, магазину «Старинная музыка», больше года назад. Так что Рождество тут ни при чем, не так ли?

Родни не особо нравилось беседовать с Дарлин. Но теперь он понял, что Дарлин вела себя разумно и с ней можно было договориться – в отличие от этого Джеймса. В голосе Джеймса было нечто не столько угрожающее, сколько непреклонное – эдакая каменная стена.

– Вы задолжали за музыкальный инструмент, верно? За какой именно?

– За клавикорд.

– Не слышал о таком.

– Это неудивительно.

Мужчина снисходительно хохотнул:

– К счастью, мне по работе не положено разбираться в старинных инструментах.

– Клавикорд – это предшественник пианино, – сказал Родни. – Только в нем играют тангенты, а не молоточки. Мой клавикорд...

– Видите ли, мистер Веббер, вот тут вы ошибаетесь. Он не ваш. Этот инструмент по-прежнему принадлежит магазину «Старинная музыка» в Эдинбурге. Вы взяли его взаймы у магазина, пока не погасите долг.

– Я думал, вам захочется узнать, что это за инструмент, – сказал Родни.

Когда это его голос поднялся на такие высоты? Все просто: ему всего лишь хотелось поставить на место Джеймса Норриса из компании «Ривз коллекшн». В следующий момент он услышал, как говорит:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.